

ХАЛЕД ХОССЕЙНИ

АВТОР РОМАНОВ «Бегущий за ветром»
и «Тысяча сияющих солнц»

И эхо
Летит
По горам



ГЛАВНЫЙ МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР 2013 ГОДА
КНИГУ УЖЕ ЧИТАЮТ В 80 СТРАНАХ

Халед Хоссейни

И эхо летит по горам

«Фантом Пресс»

Хоссейни Х.

И эхо летит по горам / Х. Хоссейни — «Фантом Пресс»,

ISBN 978-5-86471-672-4

1952 год, звездная ночь в пустыне, отец рассказывает афганскую притчу сыну и дочери. Они устроились на ночлег в горах, на пути в Кабул. Затаив дыхание, Абдулла и маленькая Пари слушают историю о том, как одного мальчика похитил ужасный дэв и бедняге предстоит самая страшная участь на свете. Но жизнь не раскрашена в черно-белые тона – даже в сказках... Наутро отец и дети продолжают путь в Кабул, и этот день станет развилкой их судеб. Они расстанутся, и, возможно, навсегда. Разлука брата и сестры даст начало сразу нескольким сплетающимся и расплетающимся историям. И в центре этой паутины – Пари, нареченная так вовсе не в честь французской столицы, а потому что так зовут на фарси фей. Пять поколений, немало стран и городов будут вовлечены в притчу жизни, которая разворачивается через войны, рождения, смерти, любви, предательства и надежды. Новый роман Халеда Хоссейни, прозрачный, пронзительный, многоголосый, о том, что любое решение, принятое за другого человека, – добра ради или зла – имеет цену, и судьба непременно выставит за него счет. Это роман о силе дешевых слов и дорогих поступков, о коварстве жизненного предназначения, о неизбежности воздаяния, о шумном малодушии и безмолвной преданности.

ISBN 978-5-86471-672-4

© Хоссейни Х.
© Фантом Пресс

Содержание

Глава первая	8
Глава вторая	15
Глава третья	30
Глава четвертая	40
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Халед Хоссейни

И эхо летит по горам

AND THE MOUNTAINS ECHOED by Khaled Hosseini

Copyright © 2013 by Khaled Hosseini and Roya Hosseini, as Trustees of The Khaled and Roya Hosseini Family

Charitable Remainder Unitrust No. 2 dated February 29, 2012

All rights reserved

Epigraph copyright Coleman Barks

www.khaledhosseini.com

www.khaledhosseinifoundation.org

Книга издана с любезного согласия автора и при содействии Chandler Crawford Agency Inc. и Литературного агентства Эндрю Нюрнберга

© Шаши Мартынова, перевод, 2013

© Фантом Пресс, оформление, издание, 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Мастерски написанный роман, охватывающий более полувека афганской истории, начинается как притча о жертве во благо, но затем оборачивается реалистичной историей о времени и судьбах. Эта печальная книга так и сияет любовью, которой пронизаны все отношения героев: разлученные брат и сестра; связанные братством кузены; господин и слуга, ближе которых нет людей. Центральный герой романа – любовь, подчас скрытая, почти невидимая, словно подернутая дымкой – как пейзаж на старом, ставшем хрупким от времени фото.

Los Angeles Times

Книга Хоссейни – как афганский ковер, сотканный вручную: тончайшие нити сплетаются в сложный и прекрасный рисунок человеческих ошибок и побед, вины и прощения, сексуальности и невинности, братства и дружбы, радости и грусти, красоты людей и уродства нищеты. И при том в книге нет и намека на сладкую сентиментальность, здесь истинная поэзия укрывает столь же истинную жестокость реальной жизни. Хоссейни словно пропускает жизнь через призму своего мастерства, и мы любуемся потрясающим спектром, которым разворачивается его роман.

Austin Chronicle

Новый мощный и эмоциональный роман Халеда Хоссейни похож и не похож на два предыдущих. Автор поднимает те же темы, что и прежде, – связь между родителями и детьми, семья, прошлое, предательство и верность, искупление. Но сделано это уже на другом литературном уровне. Книга

уверенно балансирует между яркой красочностью притчи и черно-белыми тонами реализма.

New York Times

Очень трудно написать об этом романе коротко. Он вызывает слишком много мыслей, слишком много чувств, он слишком обширен и объемлющ. Хоссейни показал себя не только мастером драматического сюжета, но виртуозным писателем. Рифмующиеся пары героев, отзывающиеся эхом ситуации, зеркально перетекающие друг в друга эмоции. Это очень-очень хорошая книга.

Washington Post

Третий роман автора «Бегущего за ветром» – удивительная по драматической силе сага о предательстве, жертвенности и жертвах, о власти семейных уз. Эта книга шире во всех отношениях, чем «Бегущий за ветром» и «Тысяча сияющих солнц». Роман охватывает три поколения, немало стран и множество персонажей. Это настоящее полотно, главная тема которого: готовы ли мы отвергнуть самое дорогое ради его блага.

People

Новый роман Хоссейни возвышается и сильным притчевым флером, и детальной прорисовкой персонажей, и изяществом устройства: у повествования много голосов, и женских, и мужских, и широкая география – от Кабула и Парижа до Сан-Франциско. Честно сказать, третья книга Хоссейни, если не считать двух предыдущих его романов, – возможно, самая интересная из всех, какие мне приходилось читать даже и не в последнее время. Хоссейни не поэт (хотя и хороший прозаик), однако мир, который ему удастся создать, и чувства, до которых он неустанно докапывается, вас непременно покорят.

Esquire

Первые два романа Хоссейни совокупно провели в списке бестселлеров 171 неделю. Этот писатель знает, чем порадовать публику, а главный ингредиент его романа – сильные переживания. Меня за здорово живешь литературой не пронять, однако на новый роман Хоссейни «И эхо летит по горам» я роняла слезы уже к сорок пятой странице. Писатели вроде Халеда Хоссейни знают, как вплести жесткое морально-этическое волокно в изысканную литературную ткань.

Washington Post

Эта история о разрыве семейных уз и его более чем полувековых последствиях могла случиться лишь в таком месте, как Афганистан, однако эмоциональность и психологизм происходящего – универсальны и никак не привязаны к конкретным декорациям, ведь территории Хоссейни – это в первую очередь география сердца.

USA Today

*Эта книга посвящается Харису и Фаре,
они оба – нур очей моих,
и моему отцу – он бы мной гордился.*

Для Элейн

За пределами знания о злодеянии и добродетели есть поле.

Я жду тебя там.

Джалаладдин Руми, XIII век

Глава первая

Осень 1952-го

Ну ладно. Хотите историю – расскажу одну. Но только одну. И не просите добавки. Уже поздно, а у нас с тобой, Пари, завтра дальняя дорога. Тебе надо выспаться. И тебе, Абдулла. Я на тебя рассчитываю, малец, покуда нас с твоей сестрой не будет. И мать тоже рассчитывает. Ну что ж. Одна история. Слушайте оба, хорошенько слушайте. И не перебивайте.

Давным-давно, в те поры, когда бродили по земле *дэвы*, *джинны* и великаны, жил-был крестьянин по имени Баба Аюб. Жил он со своей семьей в маленькой деревне Майдан-Сабз. Большую семью надо было кормить, и Баба Аюб все дни проводил в тяжком труде. Каждый день работал он от зари до зари, пахал поле, копал землю и ходил за чахлыми своими фисташковыми деревьями. Во всякое время видали его в поле, склоненным в пояс, сгорбленным, как серп, каким он весь день махал. Руки у него были в мозолях и часто кровили, и всякую ночь сон забирал его, стоило донести щеку до подушки.

Скажу вам, в тех местах не один он такой был. В Майдан-Сабз трудно жилось всем обитателям. Селянам с севера, из долины, повезло больше – там фруктовые деревья, цветы и воздух сладок, в ручьях вода студеная, чистая. А Майдан-Сабз было селеньем несчастным и нисколько не совпадало с картинкой, что представляется, когда слышишь ее название: Зеленое поле. На плоской равнине деревня лежала в кольце крутых гор. Ветер веял жаром и задувал пыль в глаза. Воду искать приходилось каждый день, потому что деревенские колодцы – даже самые глубокие – часто пересыхали. Да, река была, но к ней полдня пути, а вода круглый год текла в ней мутная. Через десять лет засухи и та река обмелела. Одним словом, люди в Майдан-Сабз работали вдвое тяжелее, а труды их давали половину того, что потребно для жизни.

И все же Баба Аюб считал, что ему повезло: была у него семья, которой дорожил он превыше всего. Он любил свою жену и ни разу голоса на нее не повысил, не то что руку поднял. Он ценил ее советы и от души радовался ее обществу. И детьми их благословило: было их столько, сколько пальцев на руке, – трое сыновей и две дочери, и каждое дитя он любил всем сердцем. Дочери его были прилежные, добрые, милого нрава и на хорошем счету у всех. Сыновей же он научил честности, отваге, дружбе и безропотному трудолюбию. Они слушались его, как и положено хорошим сыновьям, и помогали отцу на поле.

Но, хоть и любил он всех своих детей, сильнее остальных Баба Аюб втихаря обожал одного, младшего, по имени Кайс, – ему тогда исполнилось три года. Были у Кайса темно-синие глаза. Он очаровывал любого, кто видел его, своим бесовским смехом. А еще был он из тех мальчиков, у кого силы через край, но они и из других ее всю выпивают. Едва научившись ходить, он так полюбил это занятие, что день-деньской, пока не спал, носился – а потом, вот незадача, еще и ночью, во сне. Не просыпаясь, выходил из глинобитного дома, где жила семья его, и брел в залитую луной тьму. Ясное дело, родители беспокоились. А вдруг в колодец упадет, или потеряется, или того хуже – нападет на него тварь из тех, что шныряют по равнине в ночи? Все перепробовали – ничто не помогает. В конце концов Баба Аюб нашел решение – самое простое, как оно частенько и бывает с лучшими затеями: снял маленький колокольчик с одной своей козы и повесил Кайсу на шнурке. Если Кайс проснется среди ночи, колокольчик разбудит кого-нибудь. Ночные блуждания вскоре прекратились, но Кайсу понравился колокольчик, и он расставаться с ним отказался. Вот так, хоть больше и не приносил задуманной пользы, колокольчик остался висеть на шее у мальчика. Когда Баба Аюб возвращался после целого дня трудов, Кайс несся навстречу отцу и утыкался лицом ему в живот, а колокольчик позвякивал при каждом его шажке. Баба Аюб скидывал чадо на руки и нес в дом, а Кайс смотрел не отрываясь, как отец умывается, затем усаживался рядом с Бабой Аюбом ужинать.

После еды Баба Аюб потягивал чай, глядел на свою семью и представлял, что придет день и все его дети женятся и заведут своих детей, и станет он гордым отцом еще большего семейства.

Увы, Абдулла и Пари, счастливые деньки Бабы Аюба подошли тогда к концу.

Однажды в Майдан-Сабз пришел *дэв*. Надвигался на деревню от гор, и земля содрогалась с каждым его шагом. Селяне побросали мотыги, топоры да лопаты и разбежались кто куда. Заперлись по домам, забились в углы. Оглушительный топот *дэва* умолк, и тень его затмила небеса над Майдан-Сабз. Говорили, что на голове у него росли рога, жесткая черная шесть покрывала его плечи и мощный хвост. Говорили, что глаза у него горели красным. Никто не знал наверняка, понятное дело, – по крайней мере, никто из живых: *дэв* пожирал на месте любого, кто осмеливался хотя бы взглянуть на него. Селяне помнили об этом и предусмотрительно держали глаза долу.

Все знали, зачем *дэв* пришел к ним. Они слышали рассказы о его налетах на другие деревни и все изумлялись, как же повезло Майдан-Сабз, что *дэв* до сих пор обходил ее вниманием. Может, рассуждали они, нищая, скромная жизнь, какую они вели в Майдан-Сабз, сослужила им службу: детей удавалось кормить хуже, чем в других местах, и мяса у них на костях было меньше. Но увы, удача наконец отвернулась и от них.

Затрепетала Майдан-Сабз и затаила дыхание. Семьи молились, чтобы *дэв* обошел их дом стороной, ибо знали они: если постучится *дэв* к ним в крышу, придется отдать одного ребенка. *Дэв* сунет его в мешок, закинет на плечи и уйдет восвояси. Никто больше не увидит несчастное дитя. А если семья откажется отдать одного, *дэв* заберет всех отпрысков.

Куда же *дэв* утаскивал детей? К себе в крепость, что стояла на вершине крутой горы. Крепость его находилась очень далеко от Майдан-Сабз. Доли, несколько пустынь и два горных кряжа надо преодолеть, прежде чем там окажешься. Да и кто в своем уме пошел бы – на верную-то смерть? Говорили, что в крепости полно подземелий, где по стенам развешены мясницкие ножи. С потолка спускаются крюки для туш. Говорили, там ямы с огнем, а над ними вертела. Говорили, что если *дэв* ловил чужака в своих владениях, он мог и преодолеть свое отвращение к мясу взрослых.

Наверное, вы поняли, в чью крышу страшно постучал *дэв*. Услышав его, Баба Аюб страдальчески закричал, а жена лишилась чувств. Дети заплакали от ужаса – и от тоски, потому что знали: одного среди них неминуемо потеряют. Семье предстояло до рассвета принести жертву.

Как описать мне мученья, что пережили той ночью Баба Аюб и жена его? Ни одному родителю да не придется делать такой выбор. Подальше от детских ушей Баба Аюб и жена его судили-рядили, как им быть. Говорили да плакали, говорили да плакали. Всю ночь ходили они взад-вперед по дому, рассвет близился, и пора уж было им принять решение: *дэв* так все подстроил, наверное, для того, чтобы их сомнения позволили ему отнять не одного, а всех пятерых детей. Наконец собрал Баба Аюб у крыльца пять камней одинаковой формы и размера. На каждом написал имя одного ребенка, а потом засунул все в джутовый мешок. Протянул его жене, та отшатнулась, будто держал он в руках ядовитую змею.

– Не могу, – сказала она мужу, помотав головой. – Я не могу выбирать. Не вынесу.

– И я, – начал было Баба Аюб, но посмотрел в окно и понял, что солнце того и гляди появится из-за восточных холмов. Времени оставалось мало. Горестно взирал он на своих пятерых детей. Чтоб спасти руку, придется отсечь палец. Закрыв он глаза и вытянул камень из мешка.

Наверное, вы поняли и то, какой именно камень вытащил Баба Аюб. Как увидел имя на нем, воздел он лицо к небесам и взвыл. Разбилось сердце его, и взял он на руки младшего, а Кайс, слепо веря отцу, радостно обвил ручонками его шею. И лишь когда Баба Аюб вынес его из дома и закрыл за ним дверь, понял мальчик, что произошло, а Баба Аюб стоял зажмурившись, и слезы текли у него из глаз, и любимый сын его молотил кулачками в дверь, плакал и просил впустить его, и Баба Аюб шептал: «Прости меня, прости меня», – и земля содрогалась

от поступи *дэва*, и завизжал ребенок, а земля все тряслась, покуда *дэв* уходил из Майдан-Сабз, но вот все стихло, и в тишине этой рыдал Баба Аюб и все просил Кайса о прощении.

Абдулла, твоя сестра уснула. Прикрой ей ноги одеялом. Вот так. Хорошо. Может, хватит на сегодня? Нет? Хочешь дальше слушать? Ты уверен, малец? Ну ладно.

На чем я остановился? Ах да. Сорок дней скорби. И каждый день соседи готовили еду всей их семье и ухаживали за ней. Люди несли что могли: чай, сласти, хлеб, миндаль, а еще – сочувствие и сострадание. Баба Аюб даже благодарить их мог с трудом. Сидел в углу и рыдал, и слезы катились из глаз его, словно хотел он прекратить деревенскую засуху. Таких мучений и злейшему из людей не пожелаешь.

Прошло несколько лет. Засуха не кончалась, и Майдан-Сабз погрязла в еще большей нищете. Несколько младенцев померло от жажды прямо в колыбелях. Колодцы совсем обмелели, и высохла река – но не страдания Бабы Аюба: эта река все набухала, с каждым прожитым днем. Семье от него не стало никакого проку. Он не работал, не молился, почти не ел. Жена и дети умоляли его прийти в себя, но все без толку. Оставшимся сыновьям пришлось трудиться вместо него, потому что Баба Аюб ничего не делал, лишь сидел на краю своего поля, одинокий, несчастный, и глядел на горы. Он перестал разговаривать с соседями – уверился, что они сплетничают за его спиной. Мол, трус он и по своей воле отдал сына. Негодный он, дескать, отец. Настоящий отец стал бы биться с *дэвом*. Сгинул бы, защищая семью.

Как-то вечером он поделился этим с женой.

– Не говорят ничего такого они, – ответила жена. – Никто не считает тебя трусом.

– Я же слышу, – сказал он.

– Это ты свой голос слышишь, муж мой, – ответила жена. Однако не сказала ему, что селяне и *впрямь* болтали за его спиной. Но говорили они, что он, быть может, умом тронулся.

И вот однажды он сам подтвердил эти слухи. Встал на рассвете. Жене и детям ничего не сказав, сложил сколько-то хлебных корок в джутовый мешок, натянул башмаки, заткнул за пояс косу и ушел.

Шел он много-много дней. Шел, покуда не гасло и блеклое красное сияние солнца вдали. Ночами спал в пещерах, а снаружи свистел ветер, – или у рек под деревьями, или скрывался меж валунов. Ел хлеб, а потом все, что мог найти, – дикие ягоды, грибы, рыбу, какую ловил руками в ручьях, а иногда и ничего не ел. И все шел да шел. Бывало, какой-нибудь путник спрашивал, куда он идет, он отвечал, и кто-то принимался смеяться, кто-то спешил прочь, боясь, что встретил безумного, а кто-то молился за него – если и у них *дэв* отнял ребенка. Баба Аюб головы не поднимал, а все шагал вперед. Когда башмаки его сносились, он привязал их к ногам веревками, а когда веревки порвались, отправился дальше босым. И так прошел он пустыни, доли и горы.

Наконец добрался он к той горе, где на вершине стояла крепость *дэва*. Та к жаждал он свершить задуманное, что не стал отдыхать, а сразу взялся лезть вверх, одежда – в лохмотья, ноги – в кровь, волосы спеклись от пыли, но решимость его была непоколебима. Острые камни рвали ему пятки. Ястребы клевали ему щеки, когда он карабкался мимо их гнезд. Жестокие ветры чуть не сбили его с горного склона. А он все лез и лез, с камня на камень, пока не оказался перед здоровенными крепостными воротами.

Кто посмел? – прогремел голос *дэва*, когда Баба Аюб швырнул камень в ворота.

Баба Аюб назвал свое имя.

– Я пришел из деревни Майдан-Сабз, – сказал он.

Ищешь себе гибели? Уж наверняка, раз тревожишь меня в жилище моем! Чего тебе надо?

– Я пришел убить тебя.

По ту сторону ворот воцарилось молчание. Затем они со скрежетом открылись и показался *дэв*. Он навис над Бабой Аюбом во всем своем адском величии.

Ой ли? – сказал он голосом, что громовые раскаты.

– Точно, – ответил Баба Аюб. – Одному из нас сегодня погибнуть, верное дело.

На миг показалось, что *дэв* сметет Бабу Аюба с лица земли, – тот *дэву* на один укус, зубы у чудища острые, как стилеты. Но отчего-то медлило чудище. *Дэв* прищурился. Может, безумные слова старика поразили его. Может, сам вид его – лохмотья, лицо в крови, пыль, что покрывала его с головы до пят, раны по всему телу. А может, *дэв* не увидел в глазах этого человека и следа страха.

Откуда, говоришь, ты?

– Майдан-Сабз, – ответил Баба Аюб.

Далеко этот Майдан-Сабз, должно быть, – судя по твоему виду.

– Я не затем сюда пришел, чтоб ты мне зубы заговаривал. Я пришел, чтобы...

Дэв вскинул когтистую лапу. Да, да. Ты пришел меня убить. Знаю. Но ты же позволишь мне сказать несколько слов, прежде чем прикончить меня.

– Ладно, – сказал Баба Аюб. – Но лишь несколько.

Благодарю тебя. *Дэв* ослабился. Могу я спросить, что же за зло такое я тебе причинил, что смерть на себя накликал?

– Ты забрал моего младшего сына, – ответил Баба Аюб. – Он был самое дорогое для меня на всем свете.

Дэв хмыкнул и почесал подбородок. Я многих детей отнял, у многих отцов, – промолвил он.

Баба Аюб в гневе схватился за серп:

– Тогда я отомщу за них всех.

Должен сказать, твоя храбрость пробуждает во мне восхищение.

– Ничего ты не знаешь о храбрости, – ответил Баба Аюб. – Чтоб быть храбрым, нужно иметь что терять. А мне терять нечего.

У тебя есть жизнь, – сказал *дэв*.

– Ты уже отнял ее у меня.

Дэв снова хмыкнул и задумчиво оглядел Бабу Аюба. А чуть погодя сказал: Ну что ж, будь по-твоему. Сразимся. Но сначала пойдем со мной.

– Шевелись, – сказал Баба Аюб, – у меня иссякает терпение.

Но *дэв* уже шагнул к громадному входу в крепость, и Бабе Аюбу пришлось двинуться за ним. Он проследовал за *дэвом* по лабиринтам коридоров, и своды каждого почти доставали до облаков и возлежали на великанских колоннах. Они миновали многие лестницы и залы – в любом поместилась бы вся Майдан-Сабз. Та к шли они, покуда *дэв* не привел их в обширную залу, а дальнюю стену ее загораживал занавес.

Иди ближе, – позвал *дэв*.

Баба Аюб встал рядом.

Дэв отдернул занавес. За ним оказалось стеклянное окно. В нем Баба Аюб увидел бескрайний сад. Шеренги кипарисов обрамляли его, а земли его усыпали цветы всех оттенков. Были там пруды, выложенные синими плитками, мраморные террасы и сочные зеленые лужайки. Баба Аюб разглядел изящные изгороди и фонтаны, ворковавшие в тени гранатовых деревьев. И за три жизни не смог бы он представить места прекраснее.

Но сразило Бабу Аюба, когда увидал он детей – они бегали и резвились в саду. Гонялись друг за дружкой по дорожкам, вокруг деревьев. Баба Аюб поискал глазами – и нашел. Он был там! Его сынок, Кайс, живой и более чем здоровый. Он подросток, и волосы у него теперь стали длинные. На нем была красивая белая сорочка и отличные штаны. Он счастливо смеялся и носился за парой своих друзей.

– Кайс, – прошептал Баба Аюб, и стекло запотело от его дыхания. И закричал он имя своего сына.

Он тебя не слышит, – сказал *дэв*. – И не видит.

Баба Аюб запрыгал, замахал руками, замолотил по стеклу, но *дэв* задернул полог.

– Не понимаю, – сказал Баба Аюб. – Я думал...

Это тебе награда, – сказал *дэв*.

– Растолкуй! – воскликнул Баба Аюб.

Я заставил тебя пройти испытание.

– Испытание.

Испытание твоей любви. Да, жестокая проверка, и чего она тебе стоила, я тоже вижу. Но ты ее прошел. Вот твоя награда. И его.

– А если б я не выбрал его? – закричал Баба Аюб. – А если б я отказался от твоей проверки?

Тогда все твои дети сгинули бы, – ответил *дэв*, – потому что они все равно прокляты – дети слабого человека. Труса, что выбирает смерть для всех своих детей, лишь бы не обременять совесть. Ты сказал, что нет в тебе храбрости, но я вижу ее в тебе. Ты сделал такое – такую ношу принял на себя, а это требует храбрости. И за это я тебя уважаю.

Баба Аюб насилу поднял серп, но тот выпал из рук, громко лязгнув на мраморном полу. Колени у старика подогнулись, и пришлось ему сесть.

Твой сын не помнит тебя, – продолжил *дэв*. – Его жизнь теперь – тут, и ты видел своими глазами, как он счастлив. Его кормят лучшей едой, облачают в лучшие одежды, с ним дружат, его любят. Его учат искусствам и языкам, а также мудрости и великодушию. Он ни в чем не нуждается. Однажды он вырастет и решит уйти в мир – и будет волен это сделать. Полагаю, многие жизни он осенит своей добротой и принесет счастье тем, кто сражен печалью.

– Я хочу его увидеть, – вымолвил Баба Аюб. – Хочу забрать его домой.

Правда?

Баба Аюб глянул на *дэва*.

Чудище потянулось к комоду, что стоял рядом с занавесом, и достало из ящика песочные часы. Знаешь, что это такое, Абдулла, – песочные часы? Знаешь. Хорошо. Так вот... *Дэв* достал песочные часы, перевернул их и поставил к ногам Бабы Аюба.

Я разрешу тебе забрать его домой, – сказал *дэв*. Если ты так решишь, он не сможет сюда вернуться. Если решишь не забирать, *ты* никогда не сможешь сюда вернуться. Когда весь песок выплется, я спрошу, что ты решил.

С этими словами *дэв* ушел из залы, а Баба Аюб остался перед еще одним мучительным выбором.

Заберу его, тут же подумал Баба Аюб. Не этого ли желал он более всего на свете, каждой частицей себя? Не это ли воображал в тысяче своих грез? Прижать малыша Кайса к себе, расцеловать его щечки и ножки, почувствовать мягкость его маленьких рук в своих? И все же... Если возьмет он его домой, какая жизнь ожидает Кайса в Майдан-Сабз? В лучшем случае – тяжкая жизнь крестьянина, как и его собственная, и все. И это еще если Кайс не помрет от засухи, как многие другие сельские дети. Простишь ли ты себя, Баба Аюб, зная, что забрал его – по собственной корысти – из жизни роскошной, многообещающей? С другой стороны, если он оставит Кайса здесь, как переживет он – зная, что сын его жив, зная, где он, – разлуку с ним? Как он это вынесет? Плакал Баба Аюб. И такое к нему пришло отчаяние, что взял он песочные часы и метнул их в стену, и разбились они на тысячу осколков, а мелкий песок рассыпался по всему полу.

Дэв вернулся в залу и увидел Бабу Аюба – тот стоял над разбитым стеклом, плечи поникли.

– Жестокая тварь, – вымолвил Баба Аюб.

Поживи с мое, – ответил *дэв*, – и поймешь, что жестокость и благодеяние – оттенки одного цвета. Ты выбрал?

Баба Аюб вытер слезы, поднял серп, привязал его к поясу. Медленно побрел он к двери, свесив голову.

Ты хороший отец, – сказал *дэв*, когда Баба Аюб проходил мимо.

– Жариться тебе в адском пламени за то, что сотворил ты со мной, – устало промолвил Баба Аюб.

Он вышел из залы и уже направился было вон, как *дэв* окликнул его.

Вот, возьми, – сказал *дэв*. Чудище протянуло Бабе Аюбу маленький стеклянный флакон с темной жидкостью. – Выпей по пути домой. Прощай.

Баба Аюб принял флакон и больше не сказал ни слова.

Много дней спустя его жена сидела на краю их семейного надела и ждала его так же, как Баба Аюб – Кайса. С каждым сгинувшим днем надежды ее вяли. Люди в деревне уже начали говорить о Бабе Аюбе в прошедшем времени. И вот однажды сидела она опять на земле, молитва трепетала у нее на устах, и тут увидела она тощую фигуру, что приближалась к Майдан-Сабз от гор. Сначала приняла она его за бродячего дервиша – иссохшего человека, одетого в тряпье, глаза пусты, виски впали, – и лишь когда подошел он ближе, она узнала своего мужа. Сердце ее забило от радости, и закричала она с облегчением.

Когда отмыли его, напоили и накормили, Баба Аюб улегся в своем доме, а селяне столпились вокруг и забросали его вопросами:

– Где ты был, Баба Аюб?

– Что видел?

– Что с тобой приключилось?

Баба Аюб не мог им ответить, потому что не помнил, что приключилось с ним. Ничего не помнил он из своего странствия: как карабкался на гору к *дэву*, как говорил с ним, о его великом дворце, о зале с занавесом. Будто проснулся – а сон уж и забыл. Не помнил он о тайном саде, о детях и, самое главное, не помнил, что видел сына своего, Кайса, как он играет с друзьями среди дерев. Больше того: когда кто-нибудь поминал Кайса, Баба Аюб смаргивал в недоумении.

– Кто? – спрашивал он. Не помнил, что вообще был у него сын по имени Кайс.

Понимаешь, Абдулла, что это было деянье милосердия? То снадобье, оно стирает воспоминания. Такую награду получил Баба Аюб за то, что прошел и вторую проверку *дэва*.

Той весной небеса разверзлись наконец над Майдан-Сабз. И на землю упал не легкий дождик, как много лет до этого, а могучий, великий ливень. Небо исторгало потоки воды, и деревня жадно раскрылась им навстречу. Весь день вода лупила по крышам Майдан-Сабз и заглушила все другие звуки в мире. Тяжкие, набухшие капли скатывались по кромкам листвы. Колодцы наполнились, реки поднялись. Холмы к востоку от деревни зазеленели. Расцвели полевые цветы, и впервые за много лет дети играли в траве, а коровы паслись. Всем радость.

А когда дождь закончился, селянам нашлось работы. Глиняные изгороди размыло, побило несколько крыш, а поля местами превратились в болота. Но после муки убийственной засухи люди Майдан-Сабз не собирались жаловаться. Той осенью у Бабы Аюба родился самый большой урожай фисташек за всю его жизнь, и, конечно, на следующий год, и годом позже, – его урожаи лишь росли и в размерах, и в качестве. В больших городах, где продавал он свое добро, Баба Аюб восседал гордо за пирамидами фисташек и сиял, как счастливейший человек на земле. Засуха больше никогда не вернулась в Майдан-Сабз.

Я тебе вот что еще скажу, Абдулла. Ты, может, спросишь, не проехал ли в один прекрасный день через деревню красивый молодой человек на коне – на пути своих великих приключений? Не остановился ли напиться воды, которой в деревне было теперь в достатке, и не присел ли преломить хлеб с селянами или даже с самим Бабой Аюбом? Не могу сказать, мальчик. Но одно говорю точно: Баба Аюб дожил до очень преклонных лет. И еще скажу, что всех своих

детей он женил, как того и желал, а дети его родили своих, и каждый был Бабе Аюбу великим счастьем.

И вот еще что: в некоторые ночи, без всякой особой причины, Бабе Аюбу не спалось. И хоть был он очень старым человеком, мог сам ходить, пусть и с палкой. Вот в такие бессонные ночи выбирался он из постели – тихонько, чтобы не разбудить жену, – брал палку и уходил из дома. Шел он во тьме, постукивая палкой, а ночной ветерок гладил его по лицу. Лежал на краю его поля плоский валун, и усаживался на него Баба Аюб. Сидел по часу или дольше, смотрел на звезды и на облака, что плыли мимо луны. Думал о своей длинной жизни и возносил благодарности за изобилие и радости, какими наградили его. Желать большего, знал он, будет жадностью. И вздыхал счастливо, и слушал, как ветер сбегает с гор, как поют ночные птицы.

Но иногда ему казалось, что слышит он и другой звук. Всегда один и тот же – тоненький звон колокольчика. Он не понимал, откуда этот звон берется здесь, во тьме, когда все овцы и козы спят. Временами говорил себе, что ему мерещится, а иногда звал в темноту:

– Кто там? Есть кто? Покажись.

Но ни разу не слышал ответа. Баба Аюб не понимал. Не понимал он и того, почему вдруг волна чего-то – будто шлейф грустного сна – окатывала его, когда бы ни слышал он этот колокольчик, и всякий раз удивлялся, как неожиданному порыву ветра. Но потом оно проходило, как и все в мире. Проходило.

Так-то, малец. Вот и вся сказка. Нечего мне больше сказать. А теперь и впрямь поздно, я устал, а нам с твоей сестрой просыпаться на заре. Задувай свечу. Клади голову, закрывай глаза. Спи крепко, малец. Утром простимся.

Глава вторая

Осень 1952-го

Отец никогда раньше не бил Абдуллу. И когда первый раз ударил его – влепил затрещину чуть выше уха, наотмашь, внезапно, сильно, – у Абдуллы от неожиданности навернулись слезы. Он быстро сморгнул их.

– Иди домой, – выговорил отец сквозь сжатые зубы.

Абдулла слышал, как впереди заревела Пари.

И тогда отец стукнул его еще, сильнее, на этот раз по правой щеке. У Абдуллы голова мотнулась в сторону. Лицо горело, текли слезы. В левом ухе звенело. Отец склонился к нему – так близко, что его темное лицо в морщинах затмило собой пустыню, горы и небо.

– Я тебе сказал, иди домой, малец, – выговорил он страдальчески.

Абдулла не проронил ни звука. Тяжко сглотнул и сощурился на отца, заморгал ему в лицо, скрывшее солнце от глаз.

Из маленькой красной тачки, что стояла впереди, Пари выкрикнула его имя – высоким голосом, что дрожал от беспокойства:

– Аболла!

Отец пригвоздил его уничтожающим взглядом и поплелся к тачке. Пари потянулась к Абдулле с постеленной ей лежанки. Мальчик дал им уйти вперед. А потом размазал слезы ладонями и двинулся следом.

Чуть погодя отец швырнул в него камнем – так дети в Шадбаге обращались с Шуджей, псом Пари. Только дети хотели попасть в Шуджу, сделать ему больно. А камень отца безобидно плюхнулся в нескольких шагах от Абдуллы. Он подождал, пока отец с Пари тронутся с места, и опять побежал за ними.

Наконец солнце перевалило за полдень, и отец вновь остановился. Повернулся к Абдулле, задумался, поманил его.

– Ты ж не сдашься, – сказал он.

Пари со своей лежанки быстро протянула ручонку Абдулле, взяла его ладонь. Смотрела на него, глаза влажные, а сама улыбалась щербатым ртом, будто ничего плохого с ней не произойдет, покуда он рядом. Он сжал в пальцах ее ладошку – как теми ночами, когда спали они, малышня, в одной кровати, касаясь головами, сплетая ноги.

– Тебе полагалось остаться дома, – сказал отец. – С матерью и Икбалом. Как я тебе велел.

Абдулла подумал: «Она твоя жена. А мою маму похоронили». Но знал, что эти слова лучше придержать, пока наружу не выскочили.

– Ладно. Давай с нами, – сказал отец. – Но чур, никакого рева. Понял?

– Да.

– Я тебя предупредил. Не потерплю.

Пари разулыбалась Абдулле, а он смотрел в ее светлые глаза, на ее розовые круглые щеки и тоже улыбался.

Та к и пошел рядом с тачкой: та ползла по изрытому дну пустыни, а он держал Пари за руку. Они тайком обменивались счастливыми взглядами – брат и сестра, – но помалкивали, боясь отцова дурного настроения, боясь спугнуть удачу. Подолгу шли они втроем, ничто и никто не попадался на глаза – лишь сплюснутые медно-красные буераки да нагроможденья песчаника. Пустыня катилась пред ними, распахнутая, широкая, будто создана лишь для них, а воздух стоял недвижим, ослепительно жаркий, небеса – высокие, синие. На истрескавшейся земле посверкивали камни. Абдулла слышал лишь свое дыхание и мерный скрип колес красной тачки, которую отец волок на север.

Чуть погода они остановились отдохнуть в тени валуна. Отец со стоном бросил рукоятку. Поморщился, распрямляясь, поднял лицо к солнцу.

– А сколько еще до Кабула? – спросил Абдулла.

Отец глянул на него сверху вниз. Отца звали Сабур. Темнокожий, лицо жесткое, угловатое, костлявое, нос крючком, как клюв у пустынного ястреба, глубоко посаженные глаза. Худ, как тростина, но жизнь в тяжком труде закалила его мышцы, стянула их туго, как ротанговые прутья в ручках плетеного кресла.

– Завтра к вечеру, – ответил он, поднося кожаный бурдюк к губам. – Если не терять времени.

Пил он долго, скакал вверх-вниз его кадык.

– А почему дядя Наби нас не повез? – спросил Абдулла. – У него машина есть. – Отец скосил на него глаза. – Не шли бы пешком.

Отец ничего не ответил. Снял измаранную копотью тюбетейку, утер пот со лба рукавом рубахи.

Пари стрельнула пальчиком из тачки.

– Смотри, Аболла! – закричала она восторженно. – Еще одно.

Абдулла проследил глазами за ее пальцем и увидел в тени камня длинное серое перо – будто потухший уголь. Абдулла подошел, поднял его за очин. Сдул пылинки. Наверное, сокол, подумал он, крутя перо. А может, и голубь – или пустынный жаворонок. Он их сегодня видал немало. Нет, все-таки сокол. Подул еще раз на перышко, протянул его Пари, а та радостно выхватила его у Абдуллы.

Дома, в Шадбаге, Пари держала под подушкой старую жестяную коробку из-под чая, которую ей подарил Абдулла. Защелка у нее проржавела, а на крышке был бородатый индеец в тюрбане и длинной красной рубахе, обеими руками он держал чашку с горячим чаем. В коробке Пари хранила свою коллекцию перьев. Они были ее величайшим сокровищем. Темно-зеленые и насыщенно бордовые петушиные, белые хвостовые – голубиные, воробьиные – пыльно-бурые, с темными крапинками, и одно, которым Пари больше всего гордилась, – переливчато-зеленое павлинье, с красивым большущим глазком на конце.

Это последнее ей подарил Абдулла – два месяца назад. Он услышал о мальчишке из соседней деревни, у них жил павлин. Однажды отец ушел копать канавы в город к югу от Шадбага, и Абдулла отправился в ту деревню, нашел мальчишку и попросил дать одно перышко. Последовал торг, и в итоге в уплату за перо Абдулла согласился отдать свои ботинки. Когда он вернулся в Шадбаг – с пером за поясом, под рубашкой, – пятки у него потрескались и за ним тянулся по земле кровавый след. Колючки и щепки впились ему в ступни. Каждый шаг отдавался болью.

Придя домой, он увидел мачеху, Парвану, во дворе перед домом – склоняясь над *тан-дыром*, она пекла им *наан*. Он шустро спрятался за могучим дубом и подождал, когда она закончит. Из-за ствола поглядывал, как она трудится, – толстоплечая, длиннорукая женщина, ладони грубые, короткопалые. Женщина с налитым круглым лицом – никаким изяществом мотылька, от которого происходило ее имя, она не располагала.

Абдулла хотел бы любить ее, как любил некогда свою маму. Это она истекла кровью, рожая Пари три с половиной года назад, когда Абдулле было семь. Это ее лица он уже не помнил. Это она брала его лицо в свои руки и прижимала к груди, гладила по щеке каждую ночь перед сном и пела колыбельную:

Нашла я грустную феечку,
Под шелковицей нашла.
Я знаю грустную феечку,
Ее ветром ночь унесла.

Хотел бы он так же любить эту новую маму. Может, и Парвана, думал он, втайне хотела того же – любить *его*. Так, как любила Икбала, годовалого сына, чье лицо расцеловывала, от чьего каждого кашля и чиха тревожилась. Или как любила своего первого ребенка, Омара. Она его обожала. Но тот умер от простуды позапрошлой зимой. Всего две недели ему было. Абдулла помнил, как Парвана вцепилась в спеленутый трупик Омара, как трясло ее от горя. Помнил день, когда они закопали его на холме: крошечная горка промерзшей земли под оловянным небом, мулла Шекиб читал молитвы, а ветер швырял зерна снега и льда всем в глаза.

Абдулла подозревал, что Парвана взбесится, если узнает, что он обменял свою единственную пару обуви на павлинье перо. Отец надрывался на солнцепеке, чтобы заплатить за них. Вот она ему устроит, когда обнаружит. Может, даже стукнет, подумал Абдулла. Она его уже била несколько раз. У нее сильные, тяжелые руки – еще бы, столько лет таскать свою сестру-инвалида, думал Абдулла, – и руки эти знали, как замахнуться палкой от метлы, как прицельно вмазать.

Однако надо отдать Парване должное: никакого удовольствия от битья она не получала. Да и нежность к пасынкам в ней была. Она как-то раз сшила Пари серебристо-зеленое платье из отреза ткани, что отец привез из Кабула. А еще она учила Абдуллу – с удивительным терпением, – как разбить сразу два яйца и не проколоть при этом желтки. А еще она показала им, как крутить из кукурузных листьев куколок, – они делали таких с ее сестрой, когда были маленькие. Она обучила их делать для этих куколок платья из клочков ткани.

Но то все были просто жесты, ее долг, и черпала она эту заботу из колодца куда мельче того, откуда питала Икбала, и Абдулла это знал. Если б однажды ночью их дом загорелся, Абдулла знал без сомненья, кого Парвана потащит наружу первым. И не задумается ни на миг. Все в итоге сводилось к простому: они с Пари – не ее дети. Люди обычно любят своих. Ничего тут не поделаешь – он и его сестра ей чужие. Обьедки другой женщины.

Он дождался, когда Парвана понесла хлеб в дом, потом увидел, как она выходит во двор с Икбалом на одной руке и стиркой – под другой. Глядел, как она ковыляет к ручью, подождал, когда исчезнет из виду, и лишь после этого проник в дом, и пятки его жгло с каждым шагом. Внутри он уселся и сунул ноги в старые пластиковые шлепанцы – другой обуви у него не было. Абдулла знал, что поступил неразумно. Но когда он склонился над Пари, слегка потряс ее за плечо, разбудил от дневного сна и извлек из-под рубашки, будто волшебник, павлинье перо, – понял, что оно того стоило: лицо ее сначала тронуло изумление, потом – восторг, она припечтала ему щеки поцелуями, она хихикала, когда он щекотал ей подбородок мягким кончиком пера, и ноги у него вдруг перестали болеть.

Отец снова утер лицо рукавом. Они пили из бурдюка по очереди. Когда закончили, отец сказал:

– Ты устал, малец.

– Нет, – откликнулся Абдулла, хотя, конечно, устал. Насмерть устал. И ноги болели. Не так-то просто через пустыню в шлепанцах топать.

Отец сказал:

– Полезай в тачку.

В тачке Абдулла сидел за Пари, опершись спиной о дощатый бортик, а сестрины позвонки упирались ему в грудь, в живот. Отец тащил их вперед, Абдулла смотрел в небо, на горы, на тесные ряды округлых вершин, смягченных далью. Он глядел в спину отцу, на его склоненную голову, на облачка красно-бурого песка, что поднимал тот при каждом шаге. Караван кочевников кочи обогнал их по дороге – пыльная процессия звякающих колокольцев и стонающих верблюдов, а женщина с подведенными *кайалом* глазами и волосами цвета пшеницы улыбнулась Абдулле.

Ее волосы напомнили Абдулле мамины, и он опять затосковал – такая она была нежная, от рождения счастливая и всегда растерянная перед людской жестокостью. Он помнил ее

чирикающий смех и ту застенчивость, с какой опускала она голову. Его мама была хрупкой – и статью, и сутью, гибкая, с тонкой талией и облачком волос, вечно выбивавшихся из-под платка. Он когда-то раздумывал, как в таком щуплом маленьком теле держалось столько радости, столько добра. Нет, не держалось. Оно выплескивалось наружу, изливалось из глаз. Отец был другой. В отце была жесткость. Глаза его смотрели на тот же мир, что и мамыны, однако видел он там лишь безразличие. Бесконечный тяжкий труд. Отцов мир не щадил. Все хорошее в нем было небесплатно. Даже любовь. За все платишь. А если беден, твоя монета – страдания. Абдулла глянул на шелушащийся пробор в волосах у сестренки, на узкое запястье, свисавшее с бортика тачки, и понял: когда мама умирала, что-то от нее перебралось в Пари. Что-то от ее веселой преданности, ее простодушия, ее умения безудержно уповать. Пари – единственный человек на земле, который никогда не сможет и не будет его обижать. Иногда Абдулле казалось, что она – это по правде вся его семья, какая ни на есть.

Краски дня растворились в сером, и дальние горные вершины стали расплывчатыми силуэтами присевших великанов. До этого отец провез их через несколько деревень – по большей части таких же захолустных и пыльных, как Шадбаг. Маленькие квадратные домики из обожженной глины иногда взбирались на склон горы, иногда нет, ленты дыма вились над крышами. Бельевые веревки, женщины, присевшие на корточки у очагов. Тополя там и сям, немного кур, наперечет коров да коз, всегда мечеть. Последняя деревенька, что они миновали, стояла на краю макового поля, и старик, возившийся с маковыми коробочками, помахал им. Он что-то прокричал, но Абдулла не расслышал. Отец помахал в ответ.

Пари сказала:

– Аболла?

– Да.

– Ты думаешь, Шуджа грустит?

– Я думаю, все у него хорошо.

– Его никто не будет обижать?

– Он большой пес. Может за себя постоять.

Шуджа и *впрямь* был большой собакой. Отец сказал, что в прошлом, наверное, – бойцовый пес, кто-то купировал ему уши и хвост. Другой вопрос, может ли он – и станет ли – стоять за себя. Когда он, блудный, впервые появился в Шадбаге, дети стали кидать в него камнями, тыкать палками и ржавыми велосипедными спицами. Шуджа не огрызался. Со временем деревенским детям надоело его мучить и его оставили в покое, хотя Шуджа по-прежнему вел себя осторожно, подозрительно, будто не забыл, как нехорошо с ним обращались.

Всех в Шадбаге он избегал – кроме Пари. Пред ней растерял он всю бдительность. Свою любовь к ней явил широко и безоблачно. Она стала его мирозданием. По утрам, заведя, как Пари выходит из дома, Шуджа вскакивал, и все его тело трясло. Обрубок изуродованного хвоста возбужденно метался, пес приплясывал на месте, будто на раскаленных углях. Он скакал вокруг нее веселыми кругами. День-деньской ходил тенью за Пари, нюхал ее пятки, а по ночам, когда они расставались, укладывался под дверь в тоске, ожидая утра.

– Аболла?

– Да.

– Когда я вырасту, я с тобой буду жить?

Абдулла смотрел, как опускается рыжее солнце, чиркает горизонт.

– Если хочешь. Но ты не захочешь.

– А вот и да!

– Ты захочешь свой дом.

– Мы можем рядом.

– Можем.

– Ты же не будешь далеко.

- А если я тебе надоем?
- Она ткнула его локтем в бок:
- Нет!
- Абдулла разулыбался:
- Ладно, хорошо.
- Ты будешь рядом.
- Да.
- Пока мы не станем старые.
- Очень старые.
- Насовсем.
- Да, насовсем.
- Она повернулась к нему:
- Обещаешь, Аболла?
- Насовсем-пресовсем.

Чуть погодя отец пристроил Пари к себе на спину, а Абдулла шел следом, тянул пустую тачку. Они шли, и Абдулла впал в бездумное забытие. Он лишь чувал, как поднимаются и опускаются у него колени, как пот катится из-под тубетейки. Маленькие ножки Пари прыгали у отца на бедрах. Лишь чувал, когда тень отца и сестры удлинялась на серой пустынной земле, когда они уходили вперед, если он отставал.

Это дядя Наби нашел отцу новую работу; дядя Наби – старший брат Парваны, и поэтому на самом деле Абдулле сводный дядя. Дядя Наби работал поваром и шофером в Кабуле. Раз в месяц приезжал к ним в гости в Шадбаг, и о его прибытии возвещало стаккато гудков и вопли орды деревенских детишек, несшихся вслед за большим голубым автомобилем с откидным верхом и блестящими ободами. Дети шлепали по бортам и окнам, покуда он не выключал двигатель и не вылезал с широкой улыбкой – шикарный дядя Наби, с длинными бакенбардами и вьющимися волосами, зачесанными со лба назад, облаченный в мешковатый оливковый костюм, белую парадную сорочку и коричневые штиблеты. Все выходили поглазеть: он же водил машину, хоть та и принадлежала его хозяину, а также потому, что он носил костюм и работал в большом городе – в Кабуле.

Дядя Наби сказал отцу о той работе в свой последний приезд. Богатые люди, на которых он трудился, решили расширить основной дом – соорудить гостевой флигель в саду, оснащенный своей ванной комнатой, отдельно от хозяйского здания, – и дядя Наби предложил им нанять отца: тот знал, что на стройке к чему. Дядя сказал, что заплатят хорошо, а работы там на месяц – плюс-минус.

Отец и впрямь знал, что к чему на стройке. Порядком их повидал. Сколько Абдулла помнил, отец вечно искал работу, обивал пороги за поденщиной. Однажды Абдулла подслушал, как отец говорит старейшине деревни, мулле Шекибу: *Родись я животным, мулла-сахиб, клянусь, вышел бы мул*. Иногда отец брал Абдулла с собой на работу. Однажды собирали яблоки в городе, до которого от Шадбага был целый день пути. Абдулла помнил, как отец весь день лазил по лестнице, его ссутуленные плечи, морщинистый загривок, спаленный солнцем, обожженную кожу предплечий, толстые пальцы, что крутили черенки яблок, по одному за раз. В другом городе они лепили кирпичи для мечети. Отец показал Абдулле, как собирать хорошую глину, глубокого светлого оттенка. Они смешивали глину, добавляли солому, и отец терпеливо учил его подливать воду так, чтобы смесь не стала слишком жидкой. Последний год отец ворочал камни. Он кидал землю, попробовал себя за плугом. Он трудился в дорожной бригаде, клал асфальт.

Абдулла знал, что отец винил себя в смерти Омара. Будь у него работы побольше или будь она получше, мог бы купить младенцу лучшую зимнюю одежду, одеяла потеплее, может,

даже и путную печь, чтобы обогревать дом. Так думал отец. Он ни слова не сказал Абдулле об Омаре с самых похорон, но Абдулла знал.

Он помнил, что видел отца через несколько дней после смерти Омара под здоровенным дубом. Дуб этот высился над всем Шадбагом и был самым старым существом в деревне. Отец говорил, что не удивился бы, узнай он, что дерево застало императора Бабура и его поход на Кабул. Говорил, что полдетства провел в тени громадной кроны этого дуба, прыгал по его раскидистым сучьям. Отец Сабура, дедушка Абдуллы, привязал длинные веревки к толстому суку и подвесил качели, и это приспособление пережило бесчисленные суровые зимы – да и самого старика. Отец еще сказал, что они катались по очереди с Парваной и ее сестрой Масумой, когда были детьми.

Но отец слишком уставал от работы, а Пари тянула его за рукав и просила покачать.

Может, завтра, Пари.

Ну чуть-чуть, баба. Пожалуйста, вставай.

Не сейчас. В другой раз.

Она, конечно, рано или поздно оставляла его в покое, отпускала его рукав и, смирившись, уходила прочь. Иногда отцово узкое лицо будто сминалось, когда он глядел ей вслед. Он валился на свою койку, натягивал одеяло и закрывал усталые глаза.

Абдулла не мог себе представить, что отец когда-то летал на качелях. Не мог представить, что отец когда-то был мальчишкой, как он. Мальчишкой. Беззаботным, легконогим. Бегал по полям с друзьями. Отец, чьи руки иссечены шрамами, чье лицо изрезано глубокими бороздами усталости. Может, он и родился-то с лопатой в руке и грязью под ногтями.

Той ночью им пришлось спать в пустыне. Они доели хлеб и последние вареные картофелины, что Парвана дала им в дорогу. Отец устроил костер и поставил на огонь чайник – заварить чай.

Абдулла лежал у огня, свернувшись под шерстяным одеялом, за спиной у Пари, ее холодные пятки прижимались к его ногам.

Отец склонился к пламени и прикурил сигарету.

Абдулла перекатился на спину, Пари пристроилась рядом, угнездившись щекой в знакомой лунке под его ключицей. Он вдыхал медный запах пустынной пыли и глядел в небо, забитое звездами, будто кристаллами льда, что блестели и мигали. Хрупкая молодая луна укачивала призрачные очертания своей же полноты.

Абдулла вспомнил позапрошлую зиму, когда все погрузилось во мрак, ветер влезал под дверь, свистел низко, протяжно, громко – из каждой щелки в потолке. Снаружи все приметы деревни смазало снегом. Ночи стояли длинные, беззвездные, а дни – краткие, мрачные, солнце показывалось редко и лишь мельком, а затем быстро исчезало. Он помнил трудные крики Омара, затем – его молчание, а потом отец угрюмо вырезал на деревянной доске серпик луны, точно как тот, что висел над ними сейчас, и забивал эту доску в тугую землю, обожженную морозом, в изголовье маленькой могилы.

И вот уж опять конец осени. Зима уже шныряла по углам, хотя ни отец, ни Парвана не говорили о ней, будто одного слова хватит, чтобы поторопить ее приход.

– Отец? – сказал он.

С другой стороны костра отец тихонько хмыкнул.

– Можно я тебе помогать буду? На стройке флигеля то есть.

От сигареты спиралью вился дым. Отец смотрел в темноту.

– Отец?

Он повозился на камне, на котором сидел.

– Ну, может, сгодишься раствор месить, – ответил он.

– Я не умею.

– Я тебе покажу. Научишься.

– А я? – спросила Пари.

– Ты? – выговорил отец. Затянулся сигаретой и пошевелил в огне палкой. Мелкие искры затанцевали в темноте. – Ты будешь отвечать за воду. Чтоб нам всегда было что попить. Потому что мужчина не может работать, если пить хочет.

Пари примолкла.

– Отец прав, – сказал Абдулла. Он почуял, что Пари хочется перемазаться, влезть в самую глину, и ее разочаровала задачка, которую ей поручил отец. – Если ты не будешь носить нам воду, мы флигель никогда не построим.

Отец подsunул палку под ручку чайника, снял его с огня. Отставил в сторону – остудить.

– Я так скажу, – промолвил он. – Сначала докажи, что справишься с водой, и я тогда тебе еще работу найду.

Пари повела подбородком и глянула на Абдуллу, просияв щербатой улыбкой.

Он помнил ее еще младенцем, когда она спала у него на груди, а он иногда открывал глаза посреди ночи и смотрел, как она молча улыбается ему – вот как сейчас, с тем же выражением.

Растил ее он. По правде. Хоть сам еще был ребенком. В десять лет. Когда Пари только родилась, его она будила по ночам своими писками и бормотаньем, он вскакивал и баюкал ее в темноте. Менял ей запачканные пеленки. Он ее купал. Не отцово это было дело – он мужчина, а к тому же и все время слишком уставал от работы. А Парвана, уже беременная Омаром, не торопилась утешать нужды Пари. На это у нее не хватало ни терпения, ни сил. Так все заботы упали на Абдуллу, но он совсем не роптал. Он все делал с радостью. Был счастлив, что никто другой – он помогал сестре сделать первый шаг, он затаил дыхание, когда она выговорила свое первое слово. Ему думалось, что в этом состояла его цель, за этим Бог его создал – чтоб было кому приглядеть за Пари, когда Он забрал у них маму.

– Баба, – сказала Пари. – Расскажи сказку.

– Уже поздно, – сказал отец.

– Пожалуйста.

Отец по природе своей был человеком закрытым. Редко произносил больше двух фраз подряд. Но иногда по неведомым для Абдуллы причинам что-то отмыкалось в отце и из него изливались сказки. Иногда он усаживал перед собой восторженных Абдуллу и Пари, покуда Парвана гремела котлами на кухне, и рассказывал им истории, какие его бабушка передала ему, когда он еще был мальчишкой, – отправлял их в края, населенные султанами и *джиннами*, злыми *дэвами* и мудрыми дервишами. А иногда сочинял истории сам. Он придумывал их на ходу, в них открывалась его способность фантазировать и мечтать, и это всегда удивляло Абдуллу. Ни в чем больше отец не присутствовал так полно, так живо, так открыто, так правдиво, как в рассказах, будто были они лазейками в его смутный, непостижимый мир.

Но Абдулла мог сказать по отцовскому лицу, что сегодня сказки не будет.

– Поздно уже, – повторил отец. Взялся за чайник, обернув ручку углом покрывала, которое набросил на плечи, и налил себе чай. Сдул пар и отхлебнул; лицо его светилось в пламени костра оранжевым. – Спать пора. Завтра идти долго.

Абдулла натянул им на головы одеяло. Под ним он запел песенку – в шею Пари:

Нашел я грустную феечку,
Под шелковицей нашел.

Сонная Пари подтянула себе под нос свою часть:

Я знаю грустную феечку,
Ее ветром ночь унесла, —

и почти сразу же засопела.

А потом Абдулла проснулся – отца не было. Он испуганно сел. Огонь почти умер, от него ничего не осталось, лишь немного малиновых пятнышек среди углей. Абдулла глянул влево, глянул вправо, но взгляд не пробивал тьму – и просторную, и удушающую одновременно. Он почувствовал, как бледнеет. Сердце заскакало, он напряг слух, задержал дыхание.

– Отец? – прошептал он.

Тишина.

Паника проросла грибом у него в груди. Он сидел совершенно неподвижно, прямой и напряженный, слушал, долго. Ничего не слышно. Они с Пари одни, и тьма смыкается вокруг. Их бросили. Отец бросил их. Абдулла впервые почуял истинную ширь пустыни – и мира. Как легко человеку здесь потеряться. Некому помочь, некому указать дорогу. Но тут и худшая мысль заползла ему в голову. Отец мертв. Кто-то перерезал ему горло. Бандиты. Они его убили, а теперь подкрадываются к нему и Пари, тянут время, упиваются, потешаются.

– Отец? – позвал он опять, на этот раз – крикнул во весь голос.

Нет ответа.

– Отец?

Он звал и звал отца, и когти смыкались у него на горле. Он уж забыл, сколько раз кричал отцу и как долго не слышал ответа из темноты. Он представлял себе лица, скрытые горами, что бугрились из-под земли, как они глядят и злобно ухмыляются ему и Пари. Его накрыло страхом, все нутро съежилось. Он начал дрожать и еле слышно хныкать. Он чувствовал, что еще немного – и заорет.

И вдруг – шаги. Из тьмы проступила фигура.

– Я думал, ты ушел, – еле выговорил Абдулла.

Отец присел у остатков костра.

– Где ты был?

– Спи, малец.

– Ты бы нас не оставил. Ты бы так не сделал, отец.

Отец глянул на него, но тьма растворила выражение его лица, и Абдулла его не понял.

– Сестру разбудишь.

– Не бросай нас.

– Ну хватит уже.

Абдулла прилег, сжал сестру в объятьях, сердце колотилось в самом горле.

Абдулла никогда раньше не бывал в Кабуле. О городе он знал лишь то, что рассказывал дядя Наби. Кое-какие города поменьше он навещал по отцовской работе, но не настоящий, и, конечно, никакие байки дяди Наби не могли подготовить его к сутолоке и гомону самого большого и кипучего из всех городов. Всюду здесь были светофоры, чайные, рестораны, магазины со стеклянными витринами и яркими разноцветными вывесками. Машины грохотали по людным улицам, гудели и виляли мимо автобусов, пешеходов и велосипедов. Конные повозки – *гари* – сновали взад-вперед по бульварам, железные обода скакали по мостовым. На тротуарах, по которым они шагали с Пари и отцом, толпились торговцы сигаретами и жвачкой, высились магазинные прилавки, кузнецы приколачивали лошадям подковы. На перекрестках постовые в плохо сидящих форменных мундирах дули в свистки и властно помавали руками, хотя никто, похоже, не обращал на них внимания.

Абдулла устроился на скамейке рядом с мясницкой лавкой, Пари усадил к себе на колени – поест тушеной фасоли и чатни с кинзой, что отец купил им на уличном лотке.

– Смотри, Аболла, – сказала Пари, показав на магазин через дорогу.

В витрине стояла молодая женщина в красивом вышитом зеленом платье, и все оно – в зеркальцах и бусинах. А еще на ней был подходящий по цвету платок, серебряные украшения и темно-красные штаны. Она стояла неподвижно и, не моргая вовсе, безразлично взирала на прохожих. Покуда Абдулла и Пари доедали фасоль, она и пальцем не шевельнула, да и потом осталась недвижима. Через квартал Абдулла увидел здоровенный плакат, висевший на фасаде высокого здания. На нем изобразили молодую хорошенькую индианку на тюльпановом поле – она игриво спряталась за какой-то хижинкой, и на все это лился проливной дождь. Она застенчиво улыбалась, мокрое сари обнимало изгибы ее тела. Абдулла подумал, что, может, это и есть то самое кино, о котором говорил дядя Наби, куда люди ходят смотреть фильмы, и понадеялся, что в этом месяце дядя Наби сводит их с Пари посмотреть фильм. Абдулла от этой мысли разулыбался.

Дядя Наби подъехал к ним после того, как с синей мечети провыли клич на молитву. Все в том же оливковом костюме он выбрался с водительского сиденья, чуть не сбив дверью юного велосипедиста в *чапане*, но тот успел вовремя проскочить.

Дядя Наби торопливо обошел машину, обнял отца. Увидев Абдулла и Пари, расплылся в широченной улыбке. Склонился к ним:

– И как вам Кабул, дети?

– Очень громко, – сказала Пари, и дядя Наби рассмеялся.

– Это точно. Ну, полезайте в машину. Из нее увидите гораздо больше. Ноги только вытрите сначала. Сабур, садись вперед.

Заднее сиденье оказалось прохладным и жестким, светло-голубым, под цвет самого автомобиля. Абдулла придвинулся к окну за водительским креслом, усадил Пари к себе на колени. Заметил, с какой завистью зеваки смотрят на машину. Пари повернулась к нему, они ухмыльнулись друг другу.

Машина катилась, город тек мимо. Дядя Наби сказал, что поедет длинным путем, чтобы они повидали побольше Кабула. Указал им на возвышение под названием Тапа-Маранджан, а на вершине его – купол мавзолея, над всем городом. Сказал, что там похоронен Надир-шах, отец короля Захир-шаха. Показал им форт Бала-Хиссар на горе Шер-Дарваза – его, по словам дяди Наби, британцы использовали во второй войне с Афганистаном.

– А это что, дядя Наби? – Абдулла постучал в окно – показалось большое желтое прямоугольное здание.

– Это «Элеватор». Новый хлебозавод. – Держа руль одной рукой, дядя Наби вывернулся назад и подмигнул Абдулле. – Спасибо нашим русским друзьям.

Абдулла вообразил, как это – целый завод, который делает хлеб, – и вспомнил Парвану: вот она лепит шмаксы теста на стенки их глиняного *тандьра*.

Наконец дядя Наби свернул на чистую широкую улицу, аккуратно обсаженную кипарисами. Дома здесь были красивые и больше тех, что Абдулла видал в своей жизни. Белые, желтые, светло-голубые. По большей части двухэтажные, за высокими стенами и двустворчатыми металлическими воротами. Абдулла приметил вдоль улицы несколько машин, похожих на дядину.

Дядя Наби вкатился на подъездную аллею, по обеим сторонам ее росли заботливо подстриженные кусты. В конце дорожки виднелся белостенный двухэтажный дом – невероятно громадный.

– У тебя такой большой дом, – прошептала Пари, вытаращив глаза от изумления.

Дядя Наби запрокинул голову от смеха.

– Ну ты даешь. Нет, это моего хозяина дом. Вы его увидите. Держите себя как следует.

Когда дядя Наби ввел Абдулла, Пари и отца внутрь, дом впечатлил их еще сильнее. По прикидкам Абдуллы, здесь поместилась бы половина шадбагских домов. Он будто пришел во

дворец к *дэву*. Сад позади здания был прекрасно устроен: кругом цветы всех оттенков, все подстрижено, тут и там кустики по колено, а также фруктовые деревья – Абдулла узнал вишни, яблони, абрикосы и гранаты. Крыльцо с навесом смотрело в сад прямо из дома – дядя Наби сказал, что это называется «веранда», – его обрамляла балюстрада, увитая паутиной зеленых лоз. Пока они шли в залу, где их дожидались господин и госпожа Вахдати, Абдулла углядел ванную с фарфоровым унитазом, о котором рассказывал дядя Наби, а еще – сверкающую раковину с бронзовыми вентилями. Абдулла, тративший по многу часов в неделю, чтоб натаскать воды ведрами из общего шадбагского колодца, поразился жизни, в которой вода – вот она, лишь поверни кран.

Их усадили на пухлый диван с золотыми кистями – Абдуллу, Пари и отца. Мягкие подушки у них под спинами украшали крапины махоньких восьмиугольных зеркалец. Напротив дивана висела одна картина, но занимала она почти всю стену. На ней был изображен пожилой резчик, согбенный над верстаком, – он стучал молотком по камню. Окно прикрывали плиссированные бордовые портьеры, а за ним был балкон с железным парапетом в пояс высотой. Все вокруг – полированное, никакой пыли.

Никогда прежде Абдулла не понимал так ясно, до чего он грязен.

Начальник дяди Наби, господин Вахдати, сидел в кожаном кресле, скрестив руки на груди. На гостей он смотрел не то чтобы недружелюбно, однако все же отстраненно, непроницаемо. Он оказался выше отца – Абдулла заметил это, когда хозяин встал их поприветствовать. Узкие плечи, тонкие губы и высокий блестящий лоб. Одет в белый приталенный костюм и зеленую рубашку с расстегнутым воротом; манжеты скреплялись овальными лазуритами. За все время он не произнес и десятка слов.

Пари глядела на тарелку с печеньем, стоявшую на стеклянном столике перед ними. Абдулла и не подозревал, что их бывает столько разных. Шоколадные пальчики в завихренях крема, маленькие кругленькие с апельсиновой начинкой, зеленые в форме листьев и всякие другие.

– Хочешь такое? – спросила госпожа Вахдати. В основном говорила она. – Не стесняйтесь, оба. Я их для вас выложила.

Абдулла повернулся к отцу за разрешением, а следом за ним – и Пари. Кажется, это очаровало госпожу Вахдати: она вскинула брови, склонила голову и улыбнулась.

Отец чуть кивнул.

– По одному, – сказал он вполголоса.

– Ну нет, так не пойдет, – сказала госпожа Вахдати. – Я за ними посылала Наби в кондитерскую через полгорода.

Отец вспыхнул, отвел взгляд. Он сидел на краешке дивана, сжав в руках потрепанную тюбетейку. Колени он развернул прочь от госпожи Вахдати и вперил глаза в ее мужа.

Абдулла цапнул два печенья, одно отдал Пари.

– Ой, берите еще. Жалко, если хлопоты Наби пропадут впустую, – сказала госпожа Вахдати с игривым упреком. Она улыбнулась дяде Наби.

– Никаких хлопот, – ответил дядя Наби и зарделся.

Дядя Наби стоял у дверей, подле деревянного буфета с толстыми стеклянными дверцами. Внутри на полках Абдулла увидел фотографии четы Вахдати в серебряных рамках. На одной они вместе с какой-то еще парой стояли у пенной реки, одетые в толстые пальто и шарфы. На другой госпожа Вахдати держала в руке бокал, смеялась и обнимала голой рукой за талию какого-то мужчину, который не был господином Вахдати, – немыслимо для Абдуллы. А еще был свадебный снимок: он – высокий, подтянутый, в черном костюме, она – в струящемся белом платье, и оба улыбаются, не открывая ртов.

Абдулла исподтишка глянул на нее – на хрупкую талию, маленький красивый рот и идеальные дуги бровей, розовые ноготки и помаду в тон. Теперь он вспомнил, что видел ее пару

лет назад, когда Пари почти исполнилось два. Дядя Наби привез ее в Шадбаг – она сказала, что хочет познакомиться с его семьей. На ней было персиковое платье без рукавов – он помнил, как оторопел отец, – и темные очки в толстой белой оправе. Она все время улыбалась и задавала вопросы о деревне, об их жизни, как зовут детей и сколько им лет. Вела себя так, будто она – такой же, как они, обитатель глинобитной хижины с низким потолком; она опиралась о стену, черную от копоти, напротив засиженного мухами окна и мутной целлофановой занавески, что отгораживала жилую комнату от кухни, где спали Абдулла и Пари. Она устроила целое представление: подчеркнуто сняла туфли на каблуках при входе и села на пол, хотя отец разумно предложил ей стул. Можно подумать, она тут своя. Ему тогда было восемь, но он видел ее насквозь.

Но ярче всего из той встречи Абдулла запомнил Парвану, тогда беременную Икбалом, – вся закутанная, она просидела всю встречу в углу в напряженном молчании, свернувшись клубком. Ссутулила плечи, ноги упрятала под раздутый живот, будто пыталась слиться со стеной. Лицо ее скрывала грязная накидка – ее комок она придерживала подбородком. Абдулла почти видел, как над ней, словно пар, клубится стыд от того, какой ничтожной она себя чувствует, и внезапно его накрыло состраданием к мачехе.

Госпожа Вахдати потянулась к пачке сигарет, что лежала рядом с тарелкой, прикурила.

– Мы сегодня сделали большой крюк, я им немного показал город, – сказал дядя Наби.

– Отлично! Отлично, – сказала госпожа Вахдати. – Вы бывали в Кабуле, Сабур?

Отец ответил:

– Раз или два, биби-сахиб.

– Можно ли поинтересоваться, как вам?

Отец пожал плечами:

– Очень людно.

– Верно.

Господин Вахдати снял пушинку с рукава пиджака и уставил взгляд в ковер.

– Людно, да, и временами утомительно, – сказала его жена.

Отец кивнул, будто понял.

– Кабул – это остров, ей-ей. Некоторые говорят, передовой, и так оно, может, и есть.

Пожалуй, да, но он совсем оторвался от остальной страны.

Отец глянул на свою тубетейку и сморгнул.

– Поймите меня правильно, – продолжила она. – Я бы от всей души поддерживала любую прогрессивную инициативу, исходящую от города. Бог свидетель, этой стране она бы пригодилась. Но все-таки город иногда чуточку слишком самодоволен. Клянусь, помпезность этого места, – тут она вздохнула, – иногда попросту утомляет. Мне самой всегда нравилась провинция. Я к ней отношусь с большой любовью. Дальние уголки, *кариш*, маленькие деревни. *Настоящий* Афганистан, так сказать.

Отец неуверенно кивнул.

– Я, может, и не согласна со всеми или с большинством племенных традиций, но, как мне кажется, люди там живут более подлинной жизнью. В них есть стойкость. Живительное смирение. Гостеприимство. И выносливость. Гордость. Правильное слово, да, Сулейман? *Гордость?*

– Нила, прекрати, – тихо проговорил ее муж.

Повисла плотная тишина. Абдулла смотрел, как господин Вахдати барабанит пальцами по ручке кресла, его жена сдержанно улыбается, фильтр ее сигареты измазан розовым, ноги скрещены в лодыжках, локти покоятся на подлокотниках.

– Наверное, не совсем то слово, – произнесла, нарушив молчание, она. – *Достоинство*, вот что. – Она улыбнулась, показав ровные белые зубы. Абдулла таких отродясь не видывал. – Именно. Гораздо лучше. Люди в провинции имеют чувство собственного достоинства. Несут его на себе, да? Как орден. Я искренне говорю. Я вижу это в вас, Сабур.

– Спасибо, биби-сахиб, – пробормотал отец, ерзая на диване, по-прежнему не сводя глаз с тибетейки.

Госпожа Вахдати кивнула. Обратила взор на Пари:

– А ты такая красotka, скажу я тебе.

Пари придвинулась поближе к Абдулле. Госпожа Вахдати не спеша продекламировала:

– Ныне узрел я прелесть, красу, непостижимую благодать лица, что искал я. – Она улыбнулась. – Руми. Слыхали о таком? Прямо как про тебя писал, моя хорошая.

– Госпожа Вахдати – признанный поэт, – сказал дядя Наби.

На другом конце комнаты господин Вахдати потянулся за печеньем, разломил его пополам и откусил – совсем немножко.

– Наби такой милый, – сказала госпожа Вахдати и взглянула на него с теплом. Абдулла заметил, как по щекам дяди Наби пополз румянец.

Госпожа Вахдати затушила сигарету, несколько раз жестко ткнув окурком в пепельницу.

– Может, мне отвести куда-нибудь детей? – спросила она.

Господин Вахдати раздраженно выдохнул, хлопнул обеими руками по подлокотникам и сделал вид, что собирается встать, хотя остался сидеть.

– Свою их на базар, – сказала госпожа Вахдати отцу. – Если вы не возражаете, Сабур. Наби нас отвезет. А Сулейман покажет вам рабочую площадку за домом. Сами все посмотрите.

Отец кивнул.

Глаза господина Вахдати медленно закрылись.

Все встали и собрались расходиться.

И вдруг Абдулле захотелось, чтобы отец поблагодарил этих людей за чай и печенье, взял их с Пари за руки и они бы ушли из этого дома, от этих картин, портьер, пухлой роскоши и удобств. Они бы налили воды в бурдюк, купили хлеба и вареных яиц и пошли бы обратно той же дорогой. По пустыне, по валунам, по холмам, а отец рассказывал бы им истории. Они по очереди тащили бы тачку с Пари. И через два или, может, три дня, с пропыленными легкими, усталые, но вернулись бы в Шадбаг. Шуджа увидел бы, что они идут, заскакал бы вокруг Пари. Они были бы дома.

Отец сказал:

– Идите, дети.

Абдулла шагнул к нему, собрался что-то сказать, но тут здоровенная рука дяди Наби легла ему на плечо, развернула, и дядя повел их по коридору, приговаривая:

– Вот сейчас как покажем вам местные базары. Вы такого еще не видывали, оба-два.

Госпожа Вахдати устроилась с ними на заднем сиденье, и воздух тяжело набряк от ее духов и еще от чего-то, что Абдулла не опознал, – чего-то сладкого и немного терпкого. Покуда дядя Наби вел машину, она осыпала их вопросами. С кем они дружат? Ходят ли в школу? Чем занимаются? Кто их соседи? Во что играют? Солнце освещало правую часть ее лица. Абдулла видел пушок у нее на щеке и размытую линию там, где заканчивался макияж.

– У меня есть собака, – сказала Пари.

– Правда?

– Довольно примечательный экземпляр, – вставил дядя Наби с водительского места.

– Его зовут Шуджа. Он знает, когда мне грустно.

– Собаки – они такие, – сказала госпожа Вахдати. – Они в этом смыслят лучше некоторых людей из тех, что я встречала.

Они проехали мимо трех школьниц, прыгавших на тротуаре. На них была черная форма и белые платки, завязанные под подбородками.

– Я помню, что сегодня говорила, но все-таки Кабул не так уж плох. – Госпожа Вахдати рассеянно потерла ожерелье на шее. Она смотрела в окно, все черты ее набрякли. – Мне

больше всего здесь нравится в конце весны, после дождей. Воздух такой чистый. Первый налет лета. Как солнце жжет горы. – Она слабо улыбнулась. – Хорошо, что в доме побудут дети. Хоть немного шума – для разнообразия. Немного жизни.

Абдулла посмотрел на нее и учуял нечто тревожное в этой женщине – там, под макияжем, под духами и потугами на сочувствие, что-то глубоко расколотое. Он вдруг понял, что думает о дымной готовке Парваны, о кухонной полке, заваленной ее банками, разномастными тарелками и перепачканными котелками. Он заскучал по матрасу, который они делили с Пари, хоть и был он грязный, а хаос пружин вечно грозился прорваться наружу. Он скучал по всему этому. Никогда ему так не хотелось домой.

Госпожа Вахдати со вздохом откинулась на спинку, прижав к себе сумочку, как беременная женщина держится за свой набухший живот.

Дядя Наби вырулил к людному тротуару. Через дорогу, рядом с мечетью и взмывающими ввысь минаретами, размещался базар – тугие лабиринты крытых и уличных галерей. Они пошли по коридорам среди лотков, где продавали кожаные пальто, кольца с разноцветными камнями, специи всех мастей: дядя Наби шагал замыкающим, а госпожа Вахдати и они с Пари – впереди. На людях госпожа Вахдати нацепила темные очки, и лицо ее стало до странного кошащим.

Отовсюду неслись голоса торгашей. Музыка орала у каждого прилавка. Они прошли мимо лавок без внешних стенок – там продавались книги, радиоприемники, лампы и серебряные кастрюли. Абдулла приметил пару солдат в пыльных сапогах и темно-коричневых шинелях: солдаты курили одну сигарету на двоих и разглядывали всех со скучающим безразличием.

Остановились у обувной лавки. Госпожа Вахдати перебрала ряды выставленных в коробках ботинок. Дядя Наби убрел к соседнему лотку, сцепив руки за спиной, и снисходительно разглядывал какие-то старые монеты.

– Как тебе такие? – спросила госпожа Вахдати у Пари. В руках она держала новенькие желтые ботинки.

– Какие красивые, – ответила Пари, глядя на них и не веря глазам своим.

– Давай померяем.

Госпожа Вахдати помогла Пари снять старые туфли – вытянула язычок из пряжки. Глянула на Абдуллу поверх очков:

– Тебе тоже надо бы, по-моему. В голове не помещается, как ты прошел всю дорогу из деревни в этих шлепанцах.

Абдулла помотал головой и отвернулся. В галерее побирался какой-то старик в драной бороде и с культиями вместо ног.

– Смотри, Аболла! – Пари задрала одну ногу, потом вторую. Потопала, попрыгала.

Госпожа Вахдати позвала дядю Наби и велела ему пройти с Пари по галерее, посмотреть, не жмут ли туфли. Дядя Наби взял Пари за руку и повел между лотками.

Госпожа Вахдати глянула на Абдуллу сверху вниз.

– Ты думаешь, я нехороший человек, – сказала она. – По тому, что я сегодня наговорила.

Абдулла смотрел, как Пари и дядя Наби проходят мимо нищего с культиями. Старик сказал что-то Пари, она повернулась к дяде Наби и что-то спросила, и дядя Наби бросил старику монетку.

Абдулла неслышно заплакал.

– Ох, милый ребенок, – сказала ошеломленная госпожа Вахдати. – Бедное солнышко.

Она достала из сумочки носовой платок и протянула ему.

Абдулла отмахнулся.

– Пожалуйста, не надо, – сказал он хрипло.

Она присела рядом с ним на корточки, подняла очки на макушку. В глазах у нее тоже стояла влага, она промокнула их платком, и на нем остались черные кляксы.

– Ты меня терпеть не можешь, но я тебя за это не виню. Имеешь право. Но – хоть я и не жду от тебя понимания прямо сейчас – все к лучшему. Правда, Абдулла. К лучшему. Однажды поймешь.

Абдулла вскинул лицо к небу и заревел, но тут прискакала Пари – глаза истекали благодарностью, а лицо сияло счастьем.

Однажды утром в ту зиму отец взял топор и срубил большой дуб. Байтулла, сын муллы Шекиба, и еще несколько мужчин пришли помогать. Никто не пытался вмешиваться. Абдулла и другие мальчишки стояли и смотрели. Отец первым делом снял качели. Залез на дерево и перерезал веревки ножом. А потом он и остальные до самого вечера кромсали ствол, и здоровенное дерево с тяжким стоном наконец рухнуло. Отец сказал Абдулле, что им нужны дрова на зиму. Но на старое дерево он замахивался с ожесточением, сцепив зубы, а лицо его накрыло тучей, будто не мог он больше смотреть на этот дуб.

И вот уж под каменноцветным небом мужчины рубили поваленный ствол, носы и щеки покраснелись от мороза, стук топоров по дереву отдавался гулким эхом. Абдулла отламывал мелкие ветки от тех, что побольше. Первый снег выпал два дня назад. Немного – пока что, но в обещание грядущего. Вскоре зима опустится на Шадбаг, – зима с ее сосульками и недельными снежными наметами, ветрами, от которых кожа на руках трескалась в одну минуту. А пока лишь слегка забелило, и отсюда до крутых горных отрогов виднелись бледно-бурые прогалины земли.

Абдулла сгреб охапку тонких веток и отнес их к растущей общей куче. На нем были новые зимние ботинки, перчатки и зимнее пальто. С чужого плеча, но – кроме сломанной молнии, которую отец починил, – почти как новенькое, утепленное, темно-синее, с оторочкой из рыжего меха внутри. На пальто – четыре глубоких кармана, которые закрывались и открывались, и тканевый капюшон, который можно стянуть вокруг лица, если дернуть за шнурки. Абдулла сбил капюшон назад и длинно, мглисто выдохнул.

Солнце падало к горизонту. Абдулла все еще мог разглядеть старую серую мельницу, окоченело нависавшую над глинобитными стенами деревни. Мельницу обжили голубые цапли, но это летом, а сейчас, зимой, цапли улетели и вселились вороны. Каждое утро Абдулла просыпался под их вяканье и хриплый грей.

Что-то зацепило его взгляд, справа, на земле. Он подошел и опустился на колени.

Перо. Маленькое. Желтое.

Он снял перчатку и поднял его.

Вечером они идут на праздник – он, его отец и его сводный брат Икбал. У Байтуллы родился сын. *Мотреб* будет петь собравшимся мужчинам, кто-нибудь – стучать в бубен. Будет чай, теплый свежий хлеб и шорва с картошкой. А потом мулла Шекиб макнет палец в чашку с подслащенной водой и даст ребенку его пососать. Достанет блестящий черный камень и бритву, подымет тряпицу с торса мальчика. Обычный ритуал. Жизнь в Шадбаге продолжается.

Абдулла покрутил перо в руке.

Никаких слез не потерплю, сказал тогда отец. *Не реветь. Не потерплю.*

Их и не было. Никто в деревне не спрашивал о Пари. Никто не произносил ее имени. Абдуллу поразило, насколько вчистую она исчезла из их жизни.

И лишь в Шудже находил Абдулла отражение своих горестей. Каждый день пес приходил к ним под дверь. Парвана швыряла в него камнями. Отец бросался с палкой. Но собака все равно возвращалась. Каждую ночь Абдулла слышал, как пес тоскливо скулит, а каждое утро находил его под дверью: морда на лапах, моргает своим обидчикам печально, прощающе. Прошли недели, и как-то утром углядел Абдулла, что пес трусит к горам, повесив голову. Больше его в Шадбаге не видели.

Абдулла сунул желтое перышко в карман и зашагал к мельнице.

По временам он заставлял отца врасплох, когда лицо его заволакивало тучами – путаными тенями чувств. Отец будто уменьшился, будто растерял что-то главное. Вяло вышагивал он по дому или сидел с малышом Икбалом на коленях, в тепле их новенькой чугунной печки, и незряче глядел в огонь. Голос его теперь влекся тяжело, будто на каждом слове висел груз, – не помнил такого раньше Абдулла. Отец умолкал надолго, лицо захлопывалось. Он больше не рассказывал историй – ни одной с тех пор, как они с Абдуллой вернулись из Кабула. Может, думал Абдулла, отец продал чете Вахдати и свою музу тоже.

Нет ее.

Исчезла.

Ничего не осталось.

Ничего не сказано.

Если не считать слов Парваны: *Пришлось ее. Прости, Абдулла. Пришлось именно ее.*

Отсечь палец, чтобы спасти руку.

Он встал на колени за мельницей, у основания каменной башни-развалюхи. Снял перчатки и принялся копать землю. Он думал о ее густых бровях, о широком круглом лбе, о щербатой улыбке. Он слышал, как тренькает у него в голове ее смех – как звенел он когда-то у них дома. Думал о потасовке, что завязалась, когда они вернулись с базара. Пари испугалась. Кричала. Дядя Наби быстро утащил ее куда-то. Абдулла рыл, пока пальцы не уперлись в металл. Он повозился еще и вынул из ямки жестяную коробку. Смахнул с крышки холодную землю.

Потом уж он много думал над той историей, что отец рассказал им ночью перед поездкой в Кабул, – про старого крестьянина Бабу Аюба и *дэва*. Абдулле не раз приносило в места, где, бывало, стояла Пари, где ее отсутствие, словно запах, сочилось из земли у него под ногами, и ноги его подкашивались, а сердце схлопывалось внутри, и тогда он мечтал глотнуть волшебного зелья, какое *дэв* дал Бабе Аюбу, чтобы и он, Абдулла, мог все забыть.

Но нет ему никакого забвенья. Пари витала над ним невозбранно – на краю зрения Абдуллы, куда бы он ни шел. Она была как пыль, что цеплялась к его рубашке. Она была в тишине, что постоянно возникала у них дома, тишине, что подымалась меж их слов, иногда холодная, пустая, а иногда набрякшая от всего несказанного, словно туча, полная дождя, что никак не прольется. Бывало, ночами ему снилось, что он опять в пустыне, один, вокруг горы, а вдали мигает крошечный всплеск света – то есть, то нет, то есть, то нет, будто шлет ему весточку.

Он открыл жестяную коробку. Все на месте – перья Пари, сброшены петухами, утками, голубями; павлинье тоже тут. Опустил желтое перо в коробку. Придет день, подумал он.

Понадеялся.

Дни его в Шадбаге сочтены, как и у Шуджи. Он уже это понял. Ничего ему тут не осталось. Он подождет, пока минет зима, придет весенняя оттепель, и тогда он встанет однажды утром до рассвета и шагнет за порог. Выберет направление – и ходу. Отправится от Шадбага прочь, куда понесут его ноги. И если наступит день, когда будет он шагать по широкому полю, накатит на него отчаянье, он замрет на месте, закроет глаза и вспомнит о соколином пере, что Пари нашла в пустыне. Представит, как это перо отрывается от птицы, там, высоко в облаках, в полумиле над миром, как оно крутится и вертится в яростных потоках, как носят его порывы неистового ветра – мили и мили над пустынями и горами – и как оно опускается наконец не где-нибудь, а по чудесному случаю к подножью того валуна, где нашла его сестра. И так его это поразит, что воскреснет надежда: бывает и такое. И хоть он все понимает, он скрепит сердце, откроет глаза и пойдет дальше.

Глава третья

Весна 1949-го

Парвана чует запах еще до того, как отдергивает одеяло и видит причину. Все размазалось по ягодицам Масумы, по бедрам, по простыням и матрасу – и по одеялу. Масума взглядывает через плечо с робкой мольбой о прощенье, со стыдом – до сих пор со стыдом, после всех этих лет.

– Прости меня, – шепчет Масума.

Парване хочется взвыть, но она заставляет себя слабо улыбнуться. В такие минуты на это нужно усилие – не забывать, не терять из виду непоколебимую правду: все это безобразие – ее рук дело. Все, что ссудила ей судьба, – справедливо, не чрезмерно. Она заслужила. Вздыхает, осматривает перепачканные простыни, страшась предстоящих трудов.

– Сейчас я тебя обмою, – говорит.

Масума принимается беззвучно плакать, даже не меняясь в лице. Лишь слезы наливаются в глазах, текут по щекам.

Снаружи, на холодке раннего утра, Парвана разводит огонь в очаге. Когда занимается пламя, набирает в бадью воды из сельского колодца, ставит греть. Держит руки над огнем. Ей видна мельница и сельская мечеть, где мулла Шекиб учил их с Масумой читать, когда они были маленькие, виден и дом муллы Шекиба у подножия покатога склона. Позже, когда выйдет солнце, крыша этого дома обратится идеальным ослепительно ярким красным квадратом среди пыли – то помидоры, что жена муллы выложила сушить. Парвана смотрит на утренние звезды, гаснущие, бледные, – они мигают ей безразлично. Собирает себя в кулак.

Вернувшись в дом, она переворачивает Масуму на живот. Макает в воду тряпку и отмывает Масуме ягодицы, вытирает испражнения с ее спины и увядших ног.

– Зачем теплой? – спрашивает Масума в подушку. – Зачем беспокоиться? Не надо. Я не почувствую разницы.

– Может, и так. Зато я почувствую, – говорит Парвана, морщась от вони. – Так, ну-ка хватит болтать, дай мне закончить.

А дальше день течет как всегда – с тех пор, как четыре года назад умерли их родители. Парвана кормит кур. Рубит дрова, таскает воду из колодца. Месит тесто, печет хлеб в *тандыре* во дворе перед глинобитным домом. Метет пол. Ближе к вечеру сидит на корточках у ручья вместе с другими деревенскими женщинами, стирает белье на камнях. А потом – пятница же – навещает могилы родителей на кладбище, кратко молится за каждого. И весь день, между другими заботами, ворочает Масуму с боку на бок, подтыкает подушку то под одну ягодицу, то под другую.

Дважды в тот день замечает она Сабура.

Видит, как сидит он у своего дома, раздувает огонь в очаге, щурится от дыма, рядом – Абдулла, его сын. Позже он говорит с другими мужчинами, у которых, как и у Сабура, свои семьи, но когда-то были они деревенскими ребятами, с которыми Сабур враждовал, гонял воздушных змеев, дразнил собак, играл в прятки. Бремя лежит на Сабуре, пелена трагедии: мертвая жена и двое детей-сирот, один – младенец. Говорит он теперь устало, еле слышно. Ходит по деревне изношенной, иссушенной тенью себя.

Парвана смотрит на него издали – и с таким желанием, что оно почти увечит. Пытается отвести взгляд, когда он идет мимо. А если взгляды их случайно встречаются, он просто кивает, а у нее кровь приливает к лицу.

Той ночью Парвана ложится спать едва в силах руку поднять. Голова кружится от усталости. Устраивается на койке, ждет сна.

И тут, в темноте:

– Парвана?

– Да.

– Помнишь, как мы вместе на велосипеде катались?

– Угу.

– Так быстро ехали! Вниз с холма. А за нами собаки.

– Помню.

– И обе вопили. И налетели на камень... – Парвана почти слышит, как сестра улыбается во тьме. – Мама так рассердилась. И Наби. Разбили мы ему велосипед.

Парвана зажмуривается.

– Парвана?

– Да.

– Можешь со мной сегодня поспать?

Парвана откидывает одеяло, пробирается через всю комнату к Масуме, ныряет к ней. Масума укладывает щеку Парване на плечо, обхватывает сестру через грудь.

Шепчет Масума:

– Ты заслуживаешь больше, чем меня.

– Не начинай, – шепчет в ответ Парвана. Перебирает сестрины волосы долгими, терпеливыми движениями, как Масума любит.

Они болтают о том о сем, тихо, о всяких мелочах, дыханье одной – на лице у другой. И это довольно счастливые минуты – для Парваны. Они напоминают ей о тех временах, когда были они девчонками, сворачивались нос к носу под одеялом, нашепывали секреты и сплетни, беззвучно хихикали. Скоро Масума засыпает, язык ее шумно ворочается вокруг какого-то сна, а Парвана глядит в темноту за окном, в небо, выжженное дочерна. Сознание прыгает от одной случайной мысли к другой и в конце концов плывет к картинке, которую она видела в старом журнале: пара мрачных братьев из Сиама, а между торсами у них толстый шмат плоти. Два существа, связанные неразрывно, кровь, творимая костным мозгом одного, бежит в венах другого, и союз их вечен. Она чувствует, как теснит ее отчаяние, будто рука сдавила грудь. Парвана вздыхает. Пытается думать о Сабуре – и понимает, что на ум приходит сплетня: в деревне судачат, Сабур ищет новую жену. Парвана выталкивает его лицо из головы. Давит глупую эту мысль на корню.

Парвану совсем не ждали.

Масума уже родилась и извивалась тихонько на руках у повитухи, и тут ее мать закричала, и макушка другой головы раздвинула ее вторично. Рождение Масумы обошлось без происшествий. *Ангел, сама себя родила*, – скажет потом повитуха. Роды Парваны обернулись для матери долгой агонией, а для младенца – коварством. Повитухе пришлось высвобождать ее из пуповины, что намоталась вокруг Парваниной шеи, будто в убийственном припадке ужаса разлуки. В худшие времена, когда Парвану затапливает поток отвращения к себе, она думает, что, быть может, пуповина знала, что делала. Знала, какая половина – лучшая.

Масума кормилась по расписанию, спала вовремя. Плакала, лишь если просила покормить или помыть. Когда не спала, была игрива, добродушна, легко радовалась – словом, спеленутый кулек смешков и счастливого писка. Любила посасывать погремушку.

Какое разумное дитя, говорили вокруг.

Парвана же была тираном. На мать она обратила всю мощь своей деспотии. Отец же, ошарашенный истеричностью дитяти, забрал Наби, старшего брата младенцев, и сбежал ночевать к своему брату. Для матери девочек ночи превратились в мученье эпических масштабов, прерываемое краткими мгновеньями нервного сна. Она качала Парвану и ночи напролет расхаживала с нею на руках. Баюкала ее, пела ей. Морщилась, когда Парвана драла ей натертую,

распухшую грудь и впивалась деснами в сосок так, будто желала добраться до молока в самых костях материных. Но корми не корми, все без толку: даже на полный желудок Парвана билась и орала, глухая к мольбам матери.

Масума наблюдала за всем этим из своего угла комнаты задумчиво, бессильно, будто с жалостью к матери и ее тяготам.

С Наби все было совсем иначе, – сказала как-то мать отцу.

Со всяким ребенком иначе.

Этот меня убивает.

Пройдет, – сказал отец. – *Как дурная погода.*

И прошло. То были, может, колики или еще какая безобидная хворь. Но поздно. Парвана уже заработала свою славу.

Как-то вечером в конце лета, когда близнецам было по десять месяцев, шадбагские селяне собрались вместе после чьей-то свадьбы. Женщины лихорадочно сооружали на тарелках горы воздушного белого риса, припудренного шафраном. Резали хлеб, соскребали рисовую корку со дна котлов, передавали блюда с жареными баклажанами, заправленными йогуртом и сушеной мятой. Наби играл на улице с мальчишками. Мать двойняшек восседала вместе с соседями на ковре, постеленном под великанским сельским дубом. Время от времени поглядывала на дочерей, как те спят рядышком в тени.

За чаем после трапезы младенцы пробудились от дневного сна, и почти тут же кто-то подхватил Масуму на руки. Весело передавали ее по кругу – от двоюродной сестры к тетке, а от той – к дяде. Качали на коленях, усаживали так и эдак. Множество рук щекотали ей мягкий животик. Множество носов терлось о ее носик. Все захохотали, когда она схватила игриво за бороду муллу Шекиба. Восхищались, какая она веселая да общительная. Поднимали ее кверху, радовались розовым щечкам, сапфировым голубым глазам, изящному разлету бровей – предвестникам ослепительной красоты, какой отмечена будет она, не пройдет и нескольких лет.

Парвана осталась лежать у матери на коленях. Масума блистала, а Парвана молча смотрела, словно бы изумленно, как зритель среди восхищенной толпы, не понимающий, с чего вдруг такая суматоха. Временами мать поглядывала на нее и нежно сжимала ее крошечную ножку, почти извиняясь. Когда кто-то заметил, что у Масумы режутся два зуба, мать Парваны робко вставила, что у Парваны уже три. Но никто не обратил внимания.

Когда девочкам было по девять, семья собралась в доме Сабура – на ранневечерний *ифтар*, разговляться после Рамадана. Взрослые уселись кругом на подушках и загалдели. Чай, добрые пожелания и сплетни передавали друг другу равной мерой. Старики перебирали четки. Парвана сидела тихонько, счастливая мыслью, что дышит одним с Сабуром воздухом, что на виду она у его темных совиных глаз. Не раз в тот вечер бросала она взгляды на него. Глядела на него, когда он грыз сахар, почесывал гладкий склон лба или оживленно смеялся над словами пожилого дядюшки. А если перехватывал ее взгляд – одна или дважды, – отводила она глаза и вся деревенела от смущения. Коленки у нее тряслись. Рот пересыхал так, что еле могла говорить.

Парвана думала о блокноте, что спрятала дома, под грудой своих вещей. Сабур вечно рассказывал истории – сказки, густо населенные *джиннами*, феями, демонами и *дэвами*; частенько сельские дети собирались вокруг и слушали в полной тишине, как он выдумывает им сказки. И вот, примерно полгода назад, Парвана подслушала, как Сабур сказал Наби, что надеется когда-нибудь записать свои истории. Сразу после этого Парвана оказалась с матерью на базаре в другом городе, и там, на лотке со старыми книгами, нашла красивый блокнот с хрустящими линованными страницами, в толстой темно-коричневой коже с тисненой кромкой. Взяла его в руки, зная, что мать не сможет его купить. А потом улучила миг, когда торговец отвернулся, – и быстро засунула блокнот себе под свитер.

Но с тех пор прошло полгода, а Парвана все никак не отваживалась подарить блокнот Сабуру. Ее охватывал ужас при мысли, что он может обсмеять ее или углядеть в подарке его истинный смысл и вернуть подношение. Поэтому каждую ночь, лежа на койке, тайком сжимала она блокнот под одеялом, водила кончиками пальцев по тиснению на коже. И каждую ночь обещала себе: *Завтра, завтра подойду к нему.*

В тот вечер после *ифтара* дети выбежали на двор играть. Парвана, Масума и Сабур по очереди качались на качелях, которые отец Сабура подвесил к могучей ветви громадного дуба. Пришел Парванин черед, но Сабур все забывал ее раскачивать, потому что был занят – рассказывал очередную историю. На сей раз – о великанском дубе, который, по его словам, обладал волшебной силой. Если есть у тебя желание, надо встать перед дубом на колени и нашептывать ему. И если дерево согласится его выполнить, оно сбросит тебе на голову ровно десять листьев.

Когда качели почти остановились, Парвана повернулась к Сабуру и собралась попросить его качать еще, но слова умерли у нее в глотке. Сабур и Масума улыбались друг другу, а у Сабура в руках Парвана увидела блокнот. *Ее блокнот.*

Я его нашла у нас дома, – сказала потом Масума. – Это твой? Я тебе отплачу как-нибудь, честное слово. Тебе же не жалко, правда? Я просто подумала, что он Сабуру отлично подойдет. Для его историй. Видела, какое у него лицо сделалось? Видела, Парвана?

Парвана сказала, что нет, ей не жалко, но внутри у нее все рухнуло. Опять и опять представляла она, как Сабур и ее сестра улыбались друг дружке, какими взглядами обменялись. Парвана могла раствориться в воздухе, как дух из Сабуриных сказок, настолько они оба не обращали на нее внимания. Это поразило ее до печени. Той ночью рыдала она тайком, лежа на своей койке.

Когда им с сестрой исполнилось одиннадцать, до Парваны не по годам рано дошел смысл странного поведения мальчиков, когда те рядом с девочками, которые им втайне любы. Она замечала это особенно ясно, когда они с Масумой ходили из школы домой. Школа на самом деле была задней комнатой сельской мечети, и, кроме слов Корана, муллы Шекиб учил каждого ребенка в деревне читать и писать, а также наказывал зубрить стихи. Шадбагу повезло на *малика*, говорил девочкам отец. По дороге с уроков близнецы частенько нарывались на мальчишек, которые сидели на стене. Девочки проходили мимо, а мальчишки то выкрикивали гадости, то кидались камешками. Парвана обычно орала в ответ и отвечала на их камешки булыжниками, а Масума всегда тянула ее за локоть и говорила разумно, что лучше бы им поскорее пройти и не злиться. Однако Масума понимала неверно. Парвана сердилась не потому, что мальчишки швыряют камни, а потому, что швыряют их лишь в Масуму. Знала Парвана: все это показное зубоскальство тем разнообразнее, чем глубже их страсть. Знала, что за грубыми шутками и похотливыми ухмылками таится ужас перед Масумой.

И вот однажды кто-то метнул не камешек, а булыжник. Он подкатился к сестриным ногам. Масума подняла его, и мальчишки заржали и принялись тыкать друг друга локтями. Каменюка была обернута бумажкой, а ее держала резинка. Отошли близнецы на безопасное расстояние, и Масума развернула бумажку. Обе прочли записку:

Клянусь, с тех пор, как увидал Твой лик,
весь мир – подделка, измышление.
Сад растерялся – где бутон, где лист.
И смута среди птах – где семя, где силки.

Стих Руми, из тех, что преподавал им мулла Шекиб.
Ты смотри, умнеют, – хихикнула Масума.

Ниже, под стихотворением, мальчишка написал: *«Хочу на тебе жениться»*. А еще ниже нацарапал постскрипtum: *«У меня есть двоюродный братец, подойдет твоей сестре. Идеальная пара. Оба могут пастись на дядином поле»*.

Масума порвала записку надвое. *Не обращай внимания, Парвана*, – сказала она. – *Они придурки*.

Недоумки, – согласилась Парвана.

Каких же усилий потребовала ее приклеенная ухмылка. Сама по себе записка была мерзкой с избытком, но больно-то стало от Масумино ответа. Мальчишка не указал, кому из них двоих это послание, однако Масума походя решила, что стихи – это ей, а двоюродный братец – Парване. Впервые увидела себя Парвана глазами сестры. Увидела, во что ставит ее сестра. И так же – все остальные. Опустошили ее слова Масумы. Размозжили.

Ну и вдобавок, – добавила Масума, пожав плечами и улыбнувшись, – *я уж отдана*.

Наби прибыл с ежемесячным визитом. Он выбился в люди – один из всей семьи, а может, и из всей деревни: работает в Кабуле, приезжает в Шадбаг на сверкающей голубой машине своего начальника, а на капоте блестит голова орла, все собираются поглядеть на его прибытие, и деревенские дети орут и бегут рядом с авто.

– Как дела? – спрашивает.

Сидят они втроем дома, пьют чай с миндалем. Наби такой красивый, думает Парвана, изящные скулы, светло-карие глаза, бакенбарды, а волосы – плотной черной стеной ото лба и назад. Облачен в свой привычный оливковый костюм, что смотрится на размер-другой больше нужного. Наби гордится этим костюмом, и Парвана об этом знает: то он рукава одернет, то лацканы пригладит, то стрелку на брюках поправит, хоть так и не смог он вытравить из костюма душок пригоревшего лука.

– Нас тут навещала королева Хумайра, – отвечает Масума. – Хвалила наш утонченный вкус к интерьерам.

Добродушно улыбается брату, показывает желтеющие зубы, и Наби смеется, глядя в чашку. До того как нашел работу в Кабуле, Наби помогал Парване ухаживать за сестрой. Ну или пытался, недолго. Но не смог. Чересчур для него оказалось обременительно. Наби сбежал в Кабул. Парвана завидует брату, но не слишком на него дуется за его бегство – знает, что не просто повинность эти его ежемесячные наличные, что привозит он ей.

Масума причесалась и обвела глаза *кайалом*, как она это всегда делает к приезду Наби. Парвана знает, что делает она это лишь отчасти для него: больше потому, что он – ее Кабул. В сознание Масумы он – ее связь с роскошью и блеском, с городом автомобилей, огней, шикарных ресторанов и царских дворцов, и не важно, что связь эта призрачна. Парвана помнит, как давным-давно Масума говаривала, что она – городская девушка, запертая в деревне.

– А ты? Нашел себе жену? – спрашивает Масума игриво.

Наби машет рукой и отшучивается, как в те времена, когда родители задавали ему тот же вопрос.

– Так когда ты меня снова повозишь по Кабулу, брат? – вопрошает Масума.

Наби однажды возил их в Кабул – год назад. Подобрал их в Шадбаге и привез в город, прокатил по улицам. Показал им мечети, торговые кварталы, кинотеатры, рестораны. Потыкал пальцем в купола дворца Баг-и-Балла, что стоял на вершине холма, над всем городом. В садах Бабура поднял Масуму с переднего сиденья машины и отнес на руках к гробнице императора Моголов. Они помолились втроем в мечети Шахджахани, а потом, сидя у бассейна, выложенного синей плиткой, закусили тем, что Наби им припас. Может, то был самый счастливый день в жизни Масумы после случившейся беды, и за него Парвана благодарна старшему брату.

– Скоро, *иншалла*, – говорит Наби, барабанив пальцем по чашке.

– Можешь поправить подушку у меня под коленями, Наби? Ах, так-то лучше. Спасибо. – Масума вздыхает. – Мне так полюбился Кабул. Если б могла, я бы прямо завтра туда пешком пошла.

– Может, как-нибудь, – говорит Наби.

– Что, я стану ходить?

– Н-нет, – запинаясь, отвечает он. – В смысле... – Тут он улыбается, а Масума хохочет.

На дворе Наби отдает Парване деньги. Опирается плечом о стенку, прикуривает сигарету. Масума внутри, дремлет после обеда.

– Я тут видал Сабура, – говорит он, пощипывая заусенец. – Кошмар какой. Сказал, как девочку называли. Я забыл.

– *Пари*, – говорит Парвана.

Он кивает.

– Я не спрашивал, но он сказал, что собирается снова жениться.

Парвана отводит взгляд, старается сделать вид, что ей все равно, однако сердце колотится у нее в ушах. Она чувствует, как проступает на коже испарина.

– Я ж говорю – не спрашивал. Сабур сам завел этот разговор. Отвел в сторонку. Отвел и сказал.

Парвана подозревает: Наби знает о ее чувстве к Сабуру, которое она таскает в себе все эти годы. Масума – ее сестра-близнец, но понимал ее всегда Наби. И все равно невдомек Парване, почему брат сообщает ей эту новость. Что в ней проку? Сабуру нужна женщина неприязанная, женщина, которую ничто не держит, которая вольна посвятить себя ему, его сыну, его новорожденной дочери. А время Парваны уже отдано. Учтено. Как и вся ее жизнь.

– Наверняка найдет себе кого-нибудь, – говорит Парвана.

Наби кивает.

– Я приеду в следующем месяце.

Давит окурок ботинком, уходит.

Вернувшись в дом, Парвана с удивлением видит, что Масума не спит.

– Думала, ты дремлешь.

Масума взглядом указывает ей на окно и смаргивает – медленно, устало.

Когда девочкам было тринадцать, они время от времени ходили на базары в соседние городки – помогали матери. От немощеных улиц поднимался дух свежеразбрызганной воды. Вдвоем шли они по рыночным проходам, мимо лотков с кальянами, шелковыми шальями, медными котлами, старыми часами. Куриные тушки, подвешенные за ноги, описывали плавные круги над оковалками баранины и говядины.

В каждом проходе Парвана замечала, как глаза мужчин исполняются вниманием, когда Масума шагает мимо. Видела: они стараются вести себя как ни в чем не бывало, – но взгляды их цеплялись за сестру, никак глаз не отвести. Если смотрела Масума в их сторону, они, идоты, считали, что их наградили. Воображали, будто она уделит им свой миг. На полуфразе прерывала она говорящих, курильщиков – на полузатылке. От нее трепетали колени, расплескивались чайные чашки.

Бывало, Масуме всего этого становилось слишком много, словно ей было почти стыдно, и она тогда говорила Парване, что лучше останется на весь день дома, чтобы никто на нее не смотрел. В такие дни, думала Парвана, ее сестра где-то в глубине души смутно догадывалась, что ее красота – оружие. Заряженное ружье, а дуло упирается в голову ей самой. Но чаще внимание, казалось, ей нравится. Чаще она применяла свою власть, чтобы пускать под откос мысли мужчин одной мимолетной, но продуманной улыбкой, чтобы языки запинаясь на словах.

Она обжигала взоры – ее красота.

А рядом с ней плелась Парвана – с плоской грудью, бледная. С курчавыми волосами, с тяжелым, унылым лицом, с широкими запястьями и мужицкими плечами. Жалкая тень, раздираемая завистью и восторгом: ее видят рядом с Масумой; они делили внимание людское так же, как водоросли жадно глотают воду, предназначенную лилии выше по течению.

Всю свою жизнь Парвана старательно избегала вставать перед зеркалом вместе с сестрой. Свое лицо рядом с сестриным отбирало у нее всякую надежду – ей являлось впрямую, чем она обделена. Но на людях глаза всякого незнакомца – зеркало. Не сбежишь.

Она выносит Масуму наружу. Садятся вдвоем на раскладушку, что Парвана поставила. Она подтыкает под Масуму подушки, чтоб той удобно было опираться о стену. Ночь тиха, слышно лишь чириканье сверчков, и темна – озаряется немногими лампами, все еще мерцающими в окнах, да бумажно-белым светом трех четвертей ущербной луны.

Парвана заполняет колбу кальяна водой. Берет два катышка опия, каждый размером со спичечную головку, добавляет щепоть табака, кладет смесь в кальянную чашечку. Поджигает уголь на металлической сетке, вручает кальян сестре. Масума глубоко затягивается через чубук, откидывается на подушки и спрашивает, можно ли положить ноги на колени Парване. Парвана поднимает бессильные ноги, укладывает поперек своих.

Когда Масума курит, лицо ее обмякает. Веки тяжелеют. Голова клонится набок, а в голосе появляется вязкость, отстраненность. Уголки ее рта трогает шепот улыбки – скорее капризной, своенравной, самодовольной, нежели удовлетворенной. Когда Масума такая, они почти не разговаривают. Парвана слушает легкий ветер и воду, что булькает в кальяне. Парвана смотрит на звезды и на дым, который стелется над нею. Тишина приятна, и ни ей, ни Масуме не хочется без нужды заполнять ее словами.

Пока Масума не говорит:

– Можешь кое-что для меня сделать?

Парвана смотрит на нее.

– Отвези меня в Кабул.

Масума выдыхает медленно, дым крутится, кудрявится, обращается в фигуры, и они меняются, стоит сморгнуть.

– Ты серьезно?

– Хочу увидеть дворец Дар-уль-Аман. Мы в прошлый раз не успели. А может, навестить еще разок гробницу Бабура.

Парвана склоняется к Масуме – разобрать выражение ее лица. Ищет в нем следы игривости, но в лунном свете видит лишь спокойный, немигающий блеск сестриных глаз.

– Туда два дня пешего пути, не меньше. Может, все три.

– Представь, какое будет у Наби лицо, когда мы явимся к нему на порог.

– Мы даже не знаем, где он живет.

Масума вяло отмахивается:

– Он же нам сказал, в каком районе. Постучим там к кому-нибудь да спросим. Ничего особенного.

– Как же мы доберемся, Масума, – в твоем состоянии?

Масума вытаскивает чубук изо рта.

– Когда ты сегодня работала во дворе, заходил мулла Шекиб, и я с ним долго разговаривала. Сказала ему, что собираюсь на несколько дней в Кабул – с тобой вдвоем. Он дал мне благословение. И мула. Так что, видишь, я все устроила.

– Ты спятила, – говорит Парвана.

– Ну так вот я хочу. Такое мое желание.

Парвана садится, опирается о стену, качает головой. Взгляд ее скользит вверх, во мглу, рябую от облаков.

– Мне скучно до смерти, Парвана.
Парвана опорожняет грудь одним выдохом и взглядывает на сестру.
Масума подносит чубук к губам.
– Пожалуйста. Не откажи.

Как-то ранним утром, когда сестрам было по семнадцать, сидели они высоко на дубовой ветке, болтали ногами. *Сабур собирается свататься ко мне!* – сказала Масума тонким шепотом.

Он – к тебе? – переспрашивает Парвана и не понимает – по крайней мере, пока.

Ну, не лично он, конечно. – Масума смеется в ладошку. – *Конечно, не он. Его отец будет свататься.*

И вот теперь Парвана поняла. Сердце ушло в пятки. *Откуда ты знаешь?* – спросила она онемевшими губами.

Масума заговорила, слова полились из ее рта лихорадочно, однако Парвана едва слышала их. Она представляла свадьбу сестры и Сабура. Детишки в новой одежде несут плетеные корзинки, переполненные цветами, а за ними – игроки на *шахнах* и *дохлах*. Сабур раскрывает ладонь Масумы, кладет ей в горсть хну, повязывает ей руку белой лентой. Читают молитвы, благословляют союз. Подносят дары. Двое смотрят друг на друга под вуалью, расшитой золотой нитью, кормят друг друга с ложки сладким шербетом и *малидой*.

А она, Парвана, будет среди гостей – смотреть, как все это происходит. Все будут ждать, что она улыбнется, захлопает, будет счастлива – даже если сердце ее расщепилось и растрескалось.

Ветер пробежал по ветвям, и закачались они, а листья зашелестели. Парване пришлось вцепиться покрепче.

Масума умолкла. Она улыбалась, кусала нижнюю губу. *Ты спрашивала, откуда я узнала, что он собирается свататься. Я тебе расскажу. Нет. Покажу.*

Она отвернулась от Парваны, полезла в карман.

А дальше произошло то, о чем Масума ничего не знала. Покуда сестра не смотрела на нее, рылась в кармане, Парвана уперлась ладонями в ветку, приподняла зад, а затем плюхнула его обратно. Ветка сотряслась. Масума охнула и потеряла равновесие. Неистово забилась. Завалилась вперед. Парвана смотрела на движения своих рук. И не то чтобы они и впрямь *толкнули*, но коснулись спины Масумы – подушечками пальцев, и случился краткий миг незаметного толчка. Всего мгновение – и вот уж Масума звала ее по имени, а Парвана – ее. Парвана схватила сестру за сорочку, и на миг показалось, что это спасет Масуму. Но тут ткань порвалась и выскользнула из ее пальцев.

Масума упала с дерева. Казалось, падение длилось вечность. Ее тело билось о ветки, распугивая птиц, сбивая листья, крутилось, отскакивало, обламывало мелкие побеги, покуда нижняя толстая ветвь – та самая, на которой висели качели, – не врезалась ей в спину с отвратительным громким треском. Масума сложилась назад, почти пополам.

Через несколько минут вокруг нее собрался целый круг. Наби и отец девочек звали Масуму, пытались привести ее в чувство. Лица склонялись к ней. Кто-то взял ее за руку. Масума по-прежнему сжимала кулак. Когда ей разжали пальцы, нашли в ее ладони в точности десять смятых древесных листочков.

Масума говорит, а голос у нее слегка вздрагивает:

– Давай сейчас. Если станешь ждать утра, тебе не сдюжить.

Окрест, за пределами тусклого света костра, что Парвана сложила из веток кустарников и ломкой травы, – унылая нескончаемая ширь песков и гор, заглоченных темнотой. Почти два дня шли они по неряшливой равнине к Кабулу – Парвана шагала рядом с мулом, Масума ехала

верхом, привязанная к седлу, держала Парвану за руку. Брели крутыми тропами, те изгибались, ныряли и петляли по каменистым хребтам, земля под ногами заросла изжелта-ржавыми травами, иссеченная трещинами, словно паучьими лапами, что разбегались во все стороны.

Парвана стояла у огня, смотрела на Масуму – плоский холм под одеялом по ту сторону от пламени.

– А как же Кабул? – спрашивает Парвана.

– Ой, ты же из нас двоих умная.

Парвана говорит:

– Ты не можешь меня просить о таком.

– Я устала, Парвана. Это не жизнь – как у меня. Мое существование – наказание нам обоим.

– Давай вернемся, – говорит Парвана, и глотка у нее смыкается. – Я не могу так. Я не могу тебя отпустить.

– Да не ты меня отпускаешь! – выкрикивает Масума. – Это я *тебя* отпускаю. Я освобождаю тебя.

Парвана думает о том далеком вечере: Масума на качелях, она, Парвана, качает. Масума на пике взлета вперед выпрямляет ноги и откидывает голову, и длинные хвосты ее волос плещутся, как белье на веревках. Парвана вспоминает всех махоньких куколок, что выпростали они из кукурузных листьев, одели их в свадебные платья, сделанные из старой тряпицы.

– Скажи что-нибудь, сестра.

Парвана смаргивает слезы, что застыт ей взор, вытирает нос тыльной стороной руки.

– Сынка его, Абдуллу. И малышку. Пари. Думаешь, смогла бы ты их любить, как своих?

– Масума.

– Смогла бы?

– Могла бы попробовать, – отвечает Парвана.

– Хорошо. Тогда выходи за Сабура. Ухаживай за его детьми. Заведи своих.

– Он любил тебя. А меня не любит.

– Полюбит, дай время.

– Это все я, – говорит Парвана. – Я виновата. Во всем.

– Я не знаю, о чем ты, и знать не желаю. Сейчас я хочу одного. Люди поймут, Парвана. Мулла Шекиб им скажет. Скажет, что дал на это свое благословение.

Парвана воздевает лицо к темному небу.

– Будь счастлива, Парвана, – пожалуйста, будь счастлива. За меня.

Парвана чувствует, что расскажет того и гляди сестре все, – расскажет Масуме, как та не права, как мало знает она сестру свою, с которой делила материнскую утробу, как все эти годы жизнь Парваны – одно сплошное долгое раскаяние. И тогда что? Ей станет легче – за Масумин счет? Она проглатывает слова. Она и так причинила сестре достаточно боли.

– Хочу курить, – говорит Масума.

Парвана начинает было противиться, но Масума обрывает ее.

– Время пришло, – говорит она жестче, категоричней.

Из мешка, притороченного к луке седла, Парвана извлекает кальян. Трясущимися руками начинает готовить обычную смесь для кальянной чашечки.

– Больше, – говорит Масума. – Клади гораздо больше.

Парвана шмыгает носом, щеки у нее мокры, добавляет еще щепотку, потом еще и еще. Поджигает уголек, ставит кальян рядом с сестрой.

– А теперь, – говорит Масума, а оранжевое сияние пламени пляшет у нее на щеках, в ее глазах. – Если ты когда-нибудь любила меня, Парвана, если была ты мне настоящей сестрой, – уходи. Никаких поцелуев. Никаких прощаний. Не заставляй меня умолять.

Парвана собирается что-то сказать, но у Масумы из горла вырывается болезненный удушный вздох, и она отворачивает голову.

Парвана медленно подымается на ноги. Идет к мулу, затягивает седельные ремни. Берется за поводья. И вдруг понимает, что, может, и не знает, как ей жить без Масумы. Не знает, сможет ли. Как вынесет дни, когда отсутствие Масумы ляжет на нее бременем куда более тяжким, нежели ее присутствие когда бы то ни было? Как научится она ступать по краю громадной зияющей дыры на том месте, где когда-то была Масума?

Сдюжишь, почти слышит она голос Масумы.

Парвана тянет за поводья, поворачивает мула кругом и отправляется в путь.

Она идет, рассекая тьму, прохладный ночной ветер рвет ей лицо. Головы Парвана не поднимает. Лишь раз она оборачивается, нескоро. Сквозь влагу в глазах костер далек, блекл – крошечное желтоватое пятнышко. Она представляет, как сестра ее лежит у костра, одна, в темноте. Вскоре огонь догорит и Масума замерзнет. Инстинкт зовет Парвану вернуться, укрыть сестру одеялом, лечь рядом с ней.

Парвана заставляет себя развернуться и идти дальше.

И вот тогда-то она что-то слышит. Далекий, приглушенный звук, будто плач. Парвана замирает. Склоняет голову и слышит вновь. Сердце начинает долбить ей в грудь. Парвана гадает с ужасом, не зовет ли ее Масума, не передумала ли. А может, это просто лиса или шакал воет во тьме. Парвана ни в чем не уверена. Думает, не ветер ли это.

Не бросай меня, сестра. Вернись.

Но узнать наверняка можно, лишь вернувшись тем же путем, и Парвана так и собирается поступить: поворачивает и делает несколько шагов к Масуме. Останавливается. Масума права. Если она сейчас вернется, с восходом солнца ей не собрать мужества. Не сдюжит и останется. Останется навсегда. Это ее единственный шанс.

Парвана зажмуривается. Ветер хлопает платком ей по лицу.

Никому не надо знать. Никто и не узнает. Это ее тайна, и разделит она ее лишь с горами. Вопрос в том, сможет ли она с этой тайной жить, – и Парвана думает, что ответ известен. Она жила с тайнами всю свою жизнь.

Опять она слышит плач в отдалении.

Все любили тебя, Масума.

А меня – никто.

А за что так, сестра? Что я сделала?

Парвана долго стоит в темноте без движения.

Наконец она делает выбор. Разворачивается, опускает голову и шагает к незримому горизонту. И после уже не оборачивается. Она знает: стоит обернуться – воля ее поколеблется. Она потеряет решимость, потому что увидит, как летит с горы старый велосипед, скачет на камнях и щебне, как бьет их обеих по задкам, поднимая облака пыли на каждом ухабе. Она сидит на раме, а Масума – в седле, это она закладывает виражи на полной скорости, швыряет велосипед вбок почти плашмя. Но Парвана не боится. Она уверена, что сестра не перебросит ее через руль, не сделает ей больно. Мир плавится в вихре восторга, ветер свистит в ушах, и Парвана смотрит через плечо на сестру, сестра смотрит на нее, и обе смеются, когда за ними увязываются бродячие собаки.

Парвана шагает навстречу новой жизни. Она идет и идет, а темнота вокруг – будто утроба матери, и, когда она рассеивается, Парвана вглядывается в рассветный сумрак и высматривает полоску бледного света с востока, что озаряет бок валуна; Парвана как будто родилась.

Глава четвертая

Во имя Аллаха милостивого, милосердного, я знаю, что меня уже не будет в живых, когда прочтете вы это письмо, господин Маркос, ибо когда я вам его передал, попросил не вскрывать его до самой моей смерти. Позвольте отметить, какое удовольствие мне было знать вас все последние семь лет, господин Маркос. Пишу эти строки и с любовью вспоминаю о нашем ежегодном ритуале посадки в саду помидоров, ваши утренние визиты в мои скромные владенья на чай и приятную беседу, наши импровизированные уроки фарси и английского. Благодарю вас за вашу дружбу, заботу и за работу, которую вы проделали в этой стране, и, надеюсь, вы передадите мою благодарность вашим добросердечным коллегам, особенно моему другу, госпоже Амре Адемович, в которой столько сострадания, а также и Роши, ее отважной милой дочери.

Должен сказать, что письмо это – не только вам, господин Маркос, но и еще одному человеку, которому, надеюсь, вы его передадите, я чуть погодя все объясню. Простите меня – я повторю кое-что из того, что вы и так, быть может, знаете. Я повторяю это из необходимости – для ее блага. Вы увидите, что это письмо содержит не только элемент исповеди, господин Маркос, но и дела практические, кои подтолкнули меня написать его. Именно в отношении их, опасаясь, мне придется воззвать к вашей помощи, друг мой.

Я долго думал, с чего начать. Непростая задачка для человека, которому должно быть за восемьдесят. Мой точный возраст для меня загадка, как и для многих афганцев моего поколения, но я уверен в сделанном приближении, поскольку довольно живо помню драку с одним моим другом, а позднее – шурином, Сабуром, в тот день, когда узнали о том, что Надир-шаха застрелили насмерть, и о том, что сын его, юный Захир, взшел на трон. Это было в 1933 году. Я мог бы начать с тех времен. Или с других. История – она как поезд в пути: неважно, когда ты вскочил в него, рано или поздно доберешься до нужной станции. Но, думаю, стоит начать этот сказ с того, чем он закончится. Да, думаю, есть смысл подпереть эту историю Нилой Вахдати.

Мы познакомились в 1949-м, в тот год, когда она вышла замуж за господина Вахдати. Тогда я уже два года проработал на господина Сулеймана Вахдати, переехав в Кабул в 1946-м из Шадбага, деревни, где я родился: я работал год на другую семью, в том же районе. Обстоятельства моего отъезда из Шадбага – не повод для гордости, господин Маркос. Будем считать это моим первым покаанием: скажу, что душила меня жизнь, какую я вел в деревне с двумя моими сестрами, одна из них была инвалидом. Это никак меня не обеляет, но я был юн, господин Маркос, жаден до мира, полон мечтаний, пусть скромных и расплывчатых, и я представлял, как юность моя утекает, а перспективы все более сужаются. Вот и уехал. Чтобы помочь сестрам материально, да, правда. Но и чтобы сбежать.

Поскольку господин Вахдати нанял меня на полный рабочий день, я поселился у него в доме. В те дни состояние дома никак не походило на то плачевное, что вы застали, прибыв в Кабул в 2002 году, господин Маркос. Был он тогда красив и величествен. Сверкающе белый, будто усыпан алмазами. От въездных ворот вела широкая заасфальтированная аллея. Посетители попадали в прихожую с высокими потолками, украшенную высокими глиняными вазами и круглым зеркалом, вставленным в резную раму орехового дерева, – в точности на том месте, где вы ненадолго повесили старую домашнюю фотографию вашей подруги детства на пляже. Мраморный пол гостиной блестел и частично был застелен темно-красным туркменским ковром. Нет теперь того ковра, нет и кожаных диванов, кофейного столика ручной работы, шахмат из лазурита и высокого буфета красного дерева. Мало что уцелело из той шикарной мебели, и, опасаясь, она вся не в том состоянии, что была некогда.

Впервые войдя в отделанную камнем кухню, я прямо рот разинул. Подумал, что такой кухни хватит, чтоб накормить всю мою отчую деревню Шадбаг. В моем ведении оказались:

плита на шесть конфорок, холодильник, тостер, уйма кастрюль, сковородок, ножей и всяких приспособлений. Ванне комнаты – все четыре – облицованы были затейливо вырезанным мрамором и фаянсовыми раковинами. Помните такие квадратные углубления в умывальной столешнице, господин Маркос? Когда-то в них были вставлены лазуриты.

А еще был задний двор. Как-нибудь устройтесь у себя в кабинете наверху, господин Маркос, посмотрите вниз и попытайтесь представить такое. В сад можно было попасть с полу-круглой веранды, огражденной балюстрадой, увитой зелеными лозами. Лужайка в те дни была сочно-зеленой, украшали ее цветочные клумбы – жасмин, шиповник, герань, тюльпаны – и окружали два ряда фруктовых деревьев. Можно было улечься под любое вишневое дерево, господин Маркос, закрыть глаза, слушать, как ветер протискивается меж листьев, и думать, что нет на земле места лучше.

Сам я обитал в хижине на задах сада. В ней было окно, чистые стены, покрашенные в белый, и молодому неженатому человеку со скромными нуждами вроде моих пространства хватало. У меня была кровать, стол и стул и в достатке места, чтобы расстлать моленный коврик пять раз в день. Меня все устраивало тогда – и устраивает теперь.

Я готовил для господина Вахдати – этому навыку я научился, сначала наблюдая за моей покойной матерью, а позднее – у престарелого узбекского повара, трудившегося в кабульской семье, где я сам работал год его помощником. К тому же я – к моему удовольствию – служил шофером господина Вахдати. Он владел моделью «шевроле» середины 1940-х, голубой, с открытым верхом, в ней были голубые виниловые сиденья в тон и хромированные колпаки, – красивая машина, притягивала взгляды, куда бы я ни ехал. Он разрешил мне водить, потому что я зарекомендовал себя осмотрительным опытным шофером, и к тому же он принадлежал к той редкой разновидности мужчин, которым не нравится управлять самим.

Пожалуйста, не подумайте, что я хвастаю, господин Маркос, когда говорю, что был хорошим слугой. Внимательным наблюдением я постиг предпочтения и неприятия господина Вахдати, его пунктики и любимые мозоли. Также я узнал его привычки и ритуалы. К примеру, каждое утро после завтрака ему нравилось прогуливаться. Однако гулять в одиночку он не любил, и от меня требовалось сопровождать его. Я, разумеется, подчинялся его желаниям, хотя и не видел смысла в своей компании. Он за всю прогулку перемолвливался со мной едва ли одним словом и будто целиком погружался в собственные мысли. Шагал он быстро, руки смыкал за спиной, кивал прохожим, и каблуки его начищенных штиблет щелкали по мостовой. А поскольку его длинные ноги отмеряли шаги, какие мне были не под силу, я все время отставал и вынужден был догонять. Остаток дня он в основном проводил наверху за чтением или игрой в шахматы с самим собой. Он обожал рисовать, хотя оценить его умений я не мог, – по крайней мере, в те времена, поскольку свои работы он мне никогда не показывал, но я частенько заставлял его в кабинете у окна или на веранде, когда лоб его сосредоточенно хмурился, а угольный карандаш сновал и кружил над блокнотом для набросков.

Раз в несколько дней я возил его по городу. Раз в неделю он навещал свою мать. Бывали и семейные сборища. И хотя господин Вахдати в основном их избегал, иногда по случаю все же посещал, и я возил его на похороны, дни рождений, свадьбы. Раз в месяц мы ездили с ним в магазин художественных товаров, где он пополнял запасы пастельных карандашей, угля, ластиков, точилок и альбомов для рисования. Иногда ему нравилось забираться на заднее сиденье и просто кататься. Я спрашивал: *Куда поедет, сахиб?* – а он пожимал плечами, и тогда я говорил: *Будь по вашему, сахиб*, – переключал скорость и стартовал. Я часами кружил по городу – без цели, без причины, от одного района к другому, вдоль реки Кабул, наверх к Бала-Хиссару, иногда – ко дворцу Дар-уль-Аман. Иногда мы выезжали из Кабула и добирались до озера Карга, там я останавливал машину у воды. Глушил мотор, и господин Вахдати сидел на заднем сиденье совершенно неподвижно, не говоря мне ни слова, будто его это вполне устраивало – открутить вниз окно и смотреть на птиц, что сновали с дерева на дерево, и на прожилки солнечного

света, пронизывавшие озеро и разбегавшиеся по воде тысячами крошечных прыгучих пятен. Я глядел на него в зеркальце заднего вида, а он смотрел на меня так, будто был самым одиноким человеком в мире.

Раз в месяц господин Вахдати – вполне щедро – позволял мне взять машину и съездить в Шадбаг, мою родную деревню, повидаться с Парваной и ее мужем Сабуром. Когда бы ни приезжал я в деревню, меня встречали орды вопящих детишек, они скакали вокруг машины, шлепали ее по бортам, стучали в окно. Кое-кто из этих маленьких сорванцов даже пытался забраться на крышу, и приходилось их отгонять – еще поцарапают краску или помнут бока.

Смотри-ка, Наби, – говаривал Сабур. – Ты у нас знаменитость.

Поскольку его дети – Абдулла и Пари – остались без матери (Парвана – их мачеха), я старался быть с ними внимательным, особенно с мальчиком постарше, ибо он в этом, кажется, нуждался сильнее всего. Я предлагал ему лично покататься на машине, но он всегда настаивал, что поедет с крошкой-сестрой, держа ее на коленях, покуда мы кружили по дороге вокруг Шадбага. Я позволял ему включать дворники, гудеть в клаксон. Показал, как включать фары и переводить их с ближнего света на дальний.

После того как весь этот ажиотаж вокруг автомобиля утихал, я пил чай с сестрой и Сабуром, рассказывал им про жизнь в Кабуле. Старался не слишком много вещать про господина Вахдати. Я, по правде сказать, очень его любил, потому что он хорошо со мной обращался, и говорить о нем за его спиной казалось мне предательством. Будь я менее сдержанным наймитом, я бы рассказал им, что Сулейман Вахдати – загадочное существо, человек, вроде бы довольный перспективой прожить остаток дней на богатое наследство, человек без профессии, без видимых увлечений и, судя по всему, без желания оставить по себе какой бы то ни было след в мире. Я бы рассказал им, что он проводил дни своей жизни без направления или назначения. Вроде тех бесцельных поездок, что мы с ним предпринимали. Жизнь на заднем сиденье, наблюдаемая в размазанном движении. Безразличная жизнь.

Вот что я бы им поведал – но не стал. И правильно сделал. Ибо сильно ошибся бы.

Однажды господин Вахдати вышел на двор в шикарном костюме в тонкую полоску – я у него такого раньше не видел – и распорядился отвезти его в один богатый район города. Когда мы прибыли, он велел оставить машину рядом с прекрасным домом за высокой оградой, и я видел, как он позвонил в ворота, слуга открыл ему и он вошел. Дом был огромен, больше, чем у господина Вахдати, и еще красивее. Высокие стройные кипарисы украшали подъездную аллею, а также и густые цветочные кусты, кои я не признал. Двор был в два с лишним раза больше, чем у господина Вахдати, а стены вокруг него так высоки, что даже если один человек встанет на плечи другому, вряд ли сможет заглянуть внутрь. Я догадался, что тут богатство другого масштаба.

Стоял погожий день начала лета, небеса сияли солнцем. Теплый воздух вливался в открытые мною окна. Хоть работа шофера – вести машину, большую часть времени он проводит в ожидании. На улице рядом с магазином, на холостом ходу; рядом с залом свадьбы, слушая приглушенную музыку. Чтобы убить время, я сыграл в пару карточных игр. Потом карты меня утомили и я вышел из машины, прошелся в одну сторону, потом в другую. Опять сел внутрь и подумал, что, может, удастся вздремнуть, но тут вернулся господин Вахдати.

И вдруг ворота распахнулись и появилась черноволосая молодая женщина. На ней были очки от солнца и оранжевое платье с короткими рукавами, что оканчивалось чуть выше колен. Ноги у нее были голые, а также и босые. Не знаю, заметила ли она, что я сижу в машине, но если и заметила, никак этого не показала. Она уперлась пяткой в стену, подол ее платья чуть задрался и явил часть бедра под ним. Я почувствовал, как у меня от щек к шее растекается жар.

Позвольте сделать еще одно признание, господин Маркос, – оно отвратительного свойства и не оставляет мне пространства для антимоний. В те времена мне было к тридцати –

мужчина в расцвете потребностей в женском обществе. В отличие от многих мужчин, с которыми я вырос в деревне, – молодых людей, что отродясь не видали обнаженное бедро взрослой женщины и женились отчасти ради позволения наконец обозреть эдакие виды, – у меня кое-какой опыт был. В Кабуле я нашел и иногда посещал заведения, где нужды молодых людей утлались и конфиденциально, и с удобством. Я упоминаю это лишь для того, чтобы заявить: ни одна шлюха, с которой я когда-либо возлегал, не могла сравниться с этим прекрасным изящным существом, кое появилось из большого дома.

Опершись о стену, она зажгла сигарету и закурила – неспешно и с чарующей грацией, держа ее кончиками двух пальцев и прикрывая ладонью всякий раз, когда подносила сигарету к губам. Я завороченно вперивался в нее. Изгиб ее изящного запястья напомнил мне иллюстрацию, что я раз видал в одной глянцевой поэтической книжке: женщина с длинными ресницами и волнистыми темными волосами лежит с возлюбленным в саду и бледными хрупкими пальцами протягивает ему чашу с вином. Вдруг что-то захватило внимание женщины дальше по улице в противоположном направлении, и я воспользовался краткой паузой и причесал пальцами волосы, которые от жары уже начали слипаться. Когда она вновь обернулась, я опять замер. Она сделала еще несколько затяжек, раздавила окурки о стену и неспешно ушла внутрь.

Я наконец смог перевести дух.

Тем вечером господин Вахдати позвал меня в гостиную и сказал:

– У меня новости, Наби. Я женюсь.

Похоже, я все-таки переоценил его склонность к уединению.

Весть о его помолвке распространилась стремительно. Равно как и сплетни. Я слышал их от других работников, что посещали дом господина Вахдати. Самым говорливым оказался Захид, садовник, приходивший трижды в неделю ухаживать за лужайкой и подстригать кусты и деревья, – неприятный тип с отвратительной привычкой прицокивать языком после каждой фразы, – тем самым языком, каким он метал сплетни так же походя, как бросал горстями удобрения. Он был из тех вечных трудяг, что, как и я, работали в округе поварами, садовниками и посыльными. Один или два вечера в неделю, по окончании трудового дня, они втискивались ко мне в хижину попить чаю после ужина. Не помню, как этот ритуал возник, но, стоило ему завестись, я уже не мог его пресечь – не желал показаться грубым, или негостеприимным, или, того хуже, зазнайкой по отношению к себе подобным.

И вот однажды за таким чаем Захид сообщил остальным, что семья господина Вахдати не одобрила его брак, потому что у невесты дурной нрав. Он сказал, всем известно, что в Кабуле у нее нет ни *нанга*, ни *намуза* – нет уважительной репутации то есть, – и хоть ей всего двадцать, над ней уже «весь город потешается», как над машиной господина Вахдати. Но хуже всего вот что: он сказал, что она и не пыталась опровергать эти обвинения – она писала о них стихи. После этих слов по комнате пронесся неодобрительный ропот. Один из этих болтунов сказал, что у него в деревне за такое ей бы уже глотку перерезали.

Тут-то я встал и сказал им, что с меня хватит. Я выбранил их за то, что они сплетничают, как старухи за шитьем, и напомнил, что без таких людей, как господин Вахдати, мы и нам подобные торчали бы в своих деревнях и собирали коровий навоз. *Где ваша преданность, ваше уважение?* – спросил я.

На миг наступила тишина, и я решил, что произвел впечатление на этих недоумков, но тут раздался смех. Захид сказал, что я лижу господскую задницу и, может, новоявленная хозяйка дома напишет обо мне стих и назовет его «Ода Наби, лизуну многих задов». Под их рев и гогот я возмущенно вышел вон.

Но ушел я недалеко. Их сплетни и отвращали меня, и завораживали. Вопреки выдаваемой праведности, вопреки всем моим разговорам об уместности и конфиденциальности, я все ж расположился так, чтобы все слышать. Не пожелал упустить ни одной мерзкой подробности.

Помолвка длилась всего какие-то дни и увенчалась не помпезной церемонией с живыми музыкантами, танцорами и всеобщим увеселением, а кратким визитом муллы и свидетеля и росписями на бумаге. И менее чем через две недели с того дня, как я впервые ее увидел, госпожа Вахдати вселилась в дом.

Позвольте мне прервать мой рассказ ненадолго, господин Маркос, и сообщить, что буду в дальнейшем именовать жену господина Вахдати Нилой. Излишне говорить, что подобных вольностей мне тогда было не дозволено, да я бы и сам их не допустил, даже если бы мне предложили. Я всегда обращался к ней «биби-сахиб», с почтением, как и полагалось. Но для целей этого письма я отставлю этикет и стану звать ее так, как всегда о ней *думал*.

Итак, с самого начала я знал, что этот брак – несчастливый. Редко видел я нежные взгляды в этой паре или слышал любовное слово. Эти двое жили в одном доме, но пути их, похоже, не пересекались вовсе.

По утрам я подавал господину Вахдати его традиционный завтрак – поджаренный *наан*, полчашки грецких орехов, зеленый чай с чуточкой кардамона, без сахара, и одно вареное яйцо. Ему нравилось, чтобы желток вытекал, когда протыкаешь яйцо, и поначалу я никак не мог уловить точное время варки для такой консистенции и очень поэтому переживал. Пока я сопровождал господина Вахдати на ежеутренней прогулке, Нила спала, частенько до полудня или далее. К ее пробуждению у меня для господина Вахдати уже был готов обед.

Работая все утро, я мучительно ждал мига, когда Нила толкнет сетчатую дверь из гостиной на веранду. Я проигрывал в уме, как она будет выглядеть в тот или иной день. Будут ли у нее волосы подобраны кверху, гадал я, стянуты в пучок у шеи или я увижу их распущенными, ниспадающими ей на плечи? Будет ли она в очках от солнца? Выберет ли сандалии? Облачится в синюю шелковую рубашу с поясом или в малиновую с большими круглыми пуговицами?

Когда же наконец она появлялась, я находил себе занятие во дворе – делал вид, что капот автомобиля нуждается в полировке, или обнаруживал куст шиповника, который требовалось полить, – и все время глазел на нее. Смотрел, как она вздевает очки – протереть глаза – или стаскивает резинку с волос и отбрасывает назад голову – чтобы рассыпались ее блестящие темные кудри; смотрел, как она усаживается, уперев подбородок в колени, глядит в сад, вяло потягивает сигарету или закидывает ногу на ногу и болтает ступней вверх-вниз, – жест, для меня означавший скуку или беспокойство, а может, и едва сдерживаемое беззаботное лукавство.

Господин Вахдати временами сживал с ней, но чаще нет. Большую часть дня он, как и прежде, проводил за чтением у себя в кабинете, за рисованием; его повседневных привычек женитьба почти никак не изменила. Нила обычно писала – либо в гостиной, либо на веранде: карандаш в руке, листы бумаги соскальзывают к ней на колени, всегда с сигаретой. Вечерами я подавал ужин, и ели они оба в подчеркнутой тишине, опустив глаза в тарелки с рисом, и молчание прерывалось лишь тихими «спасибо» да звяканьем вилок и ложек по фарфору.

Раз-два в неделю я возил Нилу, когда ей требовались пачка сигарет или свежий набор ручек, новый блокнот, косметика. Если знал заранее о нашем с ней выезде, я непременно причесывался и чистил зубы. Умывался и натирал резаным лимоном пальцы, чтобы вытравить запах лука, выбивал из костюма пыль и надраивал ботинки. Мой костюм – оливкового цвета – достался мне от господина Вахдати, и я надеялся, что он не сообщил этого Ниле, хотя, подзревал я, мог. Не из зловредности, а потому, что люди такого положения, как господин Вахдати, частенько не догадываются, как маленькие, обыденные вещи вроде этой могут опозорить человека вроде меня. Иногда я даже надевал каракулевую шапку, принадлежавшую моему покойному отцу. Вставал перед зеркалом и то так ее набекрень надену, то эдак, очень уж мне хотелось выглядеть представительно в глазах Нилы – настолько, что даже сядь мне оса на нос, ей пришлось бы меня ужалить, чтоб я обратил на нее внимание.

Стоило нам выехать на дорогу, как я начинал искать небольшие объездные пути до точки назначения, чтобы по возможности продлить нашу поездку, пусть на минуту или две, не более, иначе Нила бы что-нибудь заподозрила, – лишь бы побыть с ней подольше. Я вел машину, вцепившись обеими руками в руль, вперив взгляд в дорогу. Применял жесткий самоконтроль и не глядел на нее в зеркальце – кроме тех случаев, когда она обращалась ко мне сама. Я довольствовался самым фактом ее присутствия на заднем сиденье, дыханьем многих ее ароматов – дорогого мыла, лосьона, духов, жвачки, сигаретного дыма. Этого обычно хватало, чтобы меня окрылить.

В автомобиле и произошла наша первая беседа. Наша первая настоящая беседа – если не считать тот миллион раз, когда она просила притащить то или отвезти се. Я вез ее в аптеку забрать лекарство, и она сказала:

- Какая она, твоя деревня, Наби? Как она, бишь, называется?
- Шадбаг, биби-сахиб.
- Шадбаг, точно. И какая она? Расскажи.
- Да немного чего есть рассказать, биби-сахиб. Деревня, как другие.
- Ой, ну наверняка же есть какая-нибудь особенность.

Я сохранял спокойствие, хотя внутри запаниковал, пытаюсь вспомнить что-нибудь эдакое – занятную странность, которая могла бы ее заинтересовать, развлечь ее. Без толку. Что мог кто-то вроде меня, деревенщина, маленький человек с маленькой жизнью, сказать исключительного, чтобы поразило такую женщину, как она?

– Виноград у нас отменный, – сказал я, но не успел я выговорить эти слова, как пожелал отхлестать по щекам себя самого. *Виноград?*

- Да ну, – промолвила она без выражения.
- Очень сладкий.
- А.

Изнутри я умирал тысячей смертей. Почуял, как влага начинает скапливаться у меня подмышками.

– Есть один особый сорт, – вытолкнул я из внезапно пересохшего рта. – Говорят, растет только в Шадбаге. Очень нежный, знаете ли, очень уязвимый. Если попробовать вырастить его в другом месте, хоть бы и в соседней деревне, он зачахнет и погибнет. Умрет. Он умирает от печали, говорят люди из Шадбага, но это, разумеется, неправда. Все дело в почве и воде. Но люди говорят, биби-сахиб. От печали.

- Это и впрямь мило, Наби.

Я украдкой глянул в водительское зеркало и увидел, что она смотрит в окно, а еще я обнаружил, к своему вящему облегчению, что уголки ее рта чуть приподнялись – тенью улыбки. Воодушевившись, я выпалил:

- Можно я вам еще одну историю расскажу, биби-сахиб?
- Само собой.

Щелкнула зажигалка, ко мне с заднего сиденья поплыл дым.

– У нас в Шадбаге есть мулла. В любой деревне есть, конечно. Нашего звать мулла Шекиб, и он великий рассказчик. Сколько он знает историй – уму непостижимо. Но одну он нам все время рассказывал, дескать, если взглянуть на ладони любого мусульманина – где угодно в мире, – увидишь нечто совершенно поразительное. На всех – одинаковые линии. Что это означает? Это означает, что на левой руке мусульманина линии образуют число восемьдесят один, а на правой – восемнадцать. Вычитаем восемнадцать из восьмидесяти одного и что получаем? Шестьдесят три. Возраст смерти Пророка, да пребудет он в мире.

Я услышал тихий смешок с заднего сиденья.

– Так вот, однажды шел через деревню путник и, конечно, присел с муллой Шекибом отужинать, все как полагается. Путник выслушал эту историю, поразмыслил над ней и сказал:

«Мулла Шекиб, при всем уважении, я как-то встретил еврея, и, клянусь, у него на ладонях были те же линии. Как вы это истолкуете?» А мулла Шекиб отвечает: «Значит, этот еврей в душе – мусульманин».

Ее внезапный взрыв хохота заворожил меня до конца дня. Будто – да простит меня Господь за такое богохульство – этот смех спустился ко мне прямо с Небес, из сада праведных, как гласит Книга, где текут реки и вечны цветы и тень в нем.

Поймите, не одна лишь краса ее, господин Маркос, так меня чаровала, хотя и ее одной было бы достаточно. Не встречал я никогда в жизни такой девушки, как Нила. Все, что она делала, ее речи, походка, облачения, улыбка – все для меня было в новинку. Нила шла наперекор каждому представлению, какое имел я о том, как женщина должна вести себя, и черта эта встречала стойкое неодобрение у людей вроде Захида и, конечно, Сабура, да и любого мужчины в моей деревне, и любой женщины, однако, по мне, это лишь добавляло ей шарма и загадочности.

Вот так смех ее звенел у меня в ушах, я продолжил выполнять свою работу, а позже, когда другие батраки собрались на чай, я улыбался и заглушал их гогот сладостным звоном ее смеха и гордился тем, что моя байка слегка отвлекла ее от неудовольствия, что имела она в браке. Нила – необычайная женщина, и я отправился спать той ночью, ощущая, что, быть может, и я сам не такой уж обычный. Вот какое действие она производила на меня.

Вскоре мы с Нилой уже беседовали ежедневно – как правило, поздним утром, когда она усаживалась попить кофе на веранде. Я под каким-нибудь предлогом забредал во двор и вот уж стоял, опираясь на лопату или с чашкой зеленого чая, и разговаривал с ней. Она выбрала меня, и я почел это за честь. Я не просто слуга, стало быть. Я уже поминал эту бессовестную жабу, Захида, а была еще Хазара, женщина с вытянутым лицом, прачка, приходившая дважды в неделю. Но Нила выбрала меня. Думаю, я был тот единственный человек из всех, включая ее супруга, с кем хоть немного облегчалось ее одиночество. Обычно говорила в основном она, и меня это вполне устраивало: я счастлив был служить сосудом, что принимал в себя ее истории. Она, к примеру, поведала мне об охотничьей вылазке в Джелалабад, которую предприняла вместе с отцом, и как ее неделями преследовали кошмарные виденья остекленевших глаз убитого оленя. Она рассказала, что посещала с матерью Францию, когда была ребенком, до Второй мировой. Чтобы туда добраться, они ехали на поезде и плыли на корабле. Она описала, каково это – ощущать ребрами перестук колес. А еще ей запомнились занавески, что висели на крючках, и отдельные купе, и ритмичное пыхтенье и шипенье паровоза. Рассказала мне о шести неделях, что провела год назад в Индии с отцом, когда очень болела.

По временам, когда она отвлекалась, чтобы стряхнуть пепел в блюдце, я украдкой смотрел на красный лак у нее на пальцах ног, золотистый глянец ее бритых икр, высокий свод стопы, а еще, каждый раз, – на ее полные, идеальной формы груди. Есть же на этой земле мужчина, грезил я, кто касается этих грудей и целует их, занимаясь с ней любовью. Что еще делать тебе в жизни, если достиг такого? Куда идти мужчине после того, как добрался он до вершины мира? Великим волевым усилием отводил я взгляд в безопасное место, когда она ко мне поворачивалась.

Все более обвыкаясь, во время этой нашей утренней болтовни она принялась высказывать жалобы на господина Вахдати. Однажды сказала, что считает его холодным, а временами – высокомерным.

– Он был со мной щедр, – заметил я.

Она пренебрежительно махнула рукой:

– Наби, прошу тебя. Не надо вот этого.

Я вежливо потупился. Сказанное ею не было полной неправдой. Господин Вахдати, к примеру, и впрямь имел привычку поправлять мою речь с видом превосходства, которое

можно было принять – вероятно, безошибочно – за высокомерие. Иногда я входил в комнату с блюдом сладостей, ставил его перед сахибом, доливал ему чаю, сметал со стола крошки, но он обращал на меня не больше внимания, чем на муху, ползущую по сетчатой двери, и тем низводил меня до полной незначительности – не поднимая взгляда. Впрочем, если вдуматься, это все мелочи, если учесть, что знал я людей, живших по соседству, на которых я когда-то работал, – они били своих слуг палками и ремнями.

– В нем нет никакой веселости, никакого авантюризма, – сказала она, уныло помешивая кофе. – Сулейман – угрюмый старик в силках юного тела.

Я слегка опешил от такой внезапной прямооты.

– Это правда, что господину Вахдати поразительно уютно его уединение, – сказал я, выбрав в пользу осторожной дипломатичности.

– Может, ему лучше жить с матерью. Как думаешь, Наби? Они отличная пара, ей-ей.

Мать господина Вахдати была грузной, довольно чопорной женщиной, обитала в другой части города – с неременной свитой слуг и двумя обожаемыми собаками. Над этими собаками она тряслась и обращалась с ними не как с равными ее слугам, а ставила их рангом выше – и не одним. Собаки те были маленькими, лысыми, отвратительными существами, пугливыми, беспокойными, и их постоянно сносило на дребезжащий визгливый лай. Я терпеть их не мог, потому что не успевал войти в дом, как они прыгали мне на ноги и бестолково пытались по ним взобраться.

Мне *было* ясно, что всякий раз, когда отвозил я Нилу и господина Вахдати в дом к старухе, воздух на заднем сиденье тяжелеет от напряжения, и я видел по обиженной нахмуренности Нилы, что они ссорились. Помню, когда мои родители ругались, они не успокаивались, пока не объявится бесспорный победитель. Таким способом они закупоривали размолвки, законопачивали их приговором, чтобы те не просачивались в спокойное течение следующего дня. У Вахдати было иначе. Их ссоры не заканчивались, а, скорее, рассасывались, будто капля чернил в чаше с водой, но поволока оставалась.

Не нужно никакой интеллектуальной акробатики, чтобы предположить, что старуха союз не одобрила, а Нила об этом знала.

Мы с Нилой вели эти разговоры, а у меня в голове раз за разом всплывал один и тот же вопрос. Почему она вышла замуж за господина Вахдати? Чтобы задать его вслух, мне не доставало храбрости. Подобный переход границы приличий был моей натуре противен. Я мог лишь предположить, что для некоторых людей, особенно для женщин, брак – даже такой несчастливый, как этот, – побег от еще большего несчастья.

Однажды, осенью 1950-го, Нила призвала меня к себе.

– Отвези меня в Шадбаг, – сказала она. Сказала, что хочет провести мою семью, пови-
дать места, откуда я родом. Сказала, что я подаю ей еду и вожу ее по Кабулу уже год, а она обо мне почти ничего не знает. Ее просьба, мягко говоря, смутила меня – столь необычно для человека ее положения просить отвезти ее куда-то и познакомить с семьей слуги. В равной мере меня воодушевил столь острый интерес Нилы ко мне, однако я с тревогой ожидал, сколько переживу неловкости и стыда, когда покажу ей нищету моей родины.

И вот в одно пасмурное утро мы отправились в путь. На ней были шпильки и персиковое платье без рукавов, но я не считал возможным для себя что-либо ей советовать. По дороге она спрашивала про деревню, о знакомых мне людях, о моей сестре и Сабуре, об их детях.

– Назови мне их имена.

– Ну, – начал я, – есть Абдулла, ему почти девять. Его родная мать умерла в прошлом году, он пасынок моей сестры Парваны. У него есть сестра Пари, ей почти два. Парвана родила мальчика прошлой зимой, звали его Омар, но он умер двухнедельным.

– Что случилось?

– Зима, биби-сахиб. Онаходит на деревни и забирает одного-двух детей каждый год. Остается лишь надеяться, что в этом году твой дом она не тронет.

– Боже, – пробормотала она.

– Если же о радостном, – сказал я, – сестра опять беременна.

В деревне нас по традиции встретила ватага босоногих детей, понесшихся за машиной, однако стоило Ниле выбраться с заднего сиденья, как дети умолкли и сдали назад – может, испугавшись, что она их сейчас отругает. Но Нила проявила великое терпение и доброту. Присела на корточки, улыбнулась, поговорила с каждым, пожала им руки, потрепала по замурзыным щекам, поворошила немытые патлы. К моему смущению, вокруг начали собираться люди. Байтулла, друг детства, смотрел с края крыши, присев на корточки вместе со своими братьями, точно стая ворон, и все жевали *насвай*. А отец его, сам мулла Шекиб, и трое других белобородых мужчин сидели в тени под стеной, лениво перебирали четки и с неудовольствием вперяли в Нилу и ее голые руки свои безвозрастные взоры.

Я представил Нилу Сабуру, и мы в сопровождении толпы зевак двинулись к их с Парваной глинобитной хижине. На пороге Нила настояла на том, что снимет туфли, хотя Сабур сказал ей, что в этом нет нужды. Когда вошли в комнату, я увидел Парвану – она молча сидела в углу, свернувшись в застывший клубок. Она поприветствовала Нилу еле слышно, почти шепотом.

Сабур вскинул брови на Абдуллу:

– Неси чай, малец.

– Нет-нет, что вы, – сказала Нила, усаживаясь на пол рядом с Парваной. – Это лишнее.

Но Абдулла уже исчез в соседней комнате, что, я знал, служила и кухней, и спальней ему и Пари. Полог мутного целлофана, прибитый к дверному косяку, отделял ее от той, где мы собрались. Я сидел, теребил ключи от машины и жалел, что не было возможности предупредить сестру об этом визите, дать ей время хоть немного прибраться. Растрескавшиеся глинобитные стены почернели от сажи, драный матрас под Нилой покрыт пылью, одинокое окно в комнате обсижено мухами.

– Милый ковер, – сказала Нила жизнерадостно, ведя по нему пальцами. Ярко-красный, с узором из отпечатков слоновьих ног. То был единственный предмет из всего, чем владели Сабур с Парваной, имевший хоть какую-то ценность, но и его продадут, как потом окажется, той же зимой.

– Это моего отца, – сказал Сабур.

– Туркменский?

– Да.

– Я так люблю овечью шерсть, которую они используют. Потрясающее мастерство.

Сабур кивнул. Он ни разу не взглянул в ее сторону – даже когда говорил с ней.

Зашуршал целлофан: Абдулла вернулся с подносом, уставленным чашками, опустил его на пол перед Нилой. Налил ей и сел, скрестив ноги, напротив. Нила попыталась с ним заговорить, подбросив несколько простых вопросов, но Абдулла лишь кивал бритой головой, бормотал одно– или двухсложные ответы и насупленно пялился на нее. Я сделал в уме зарубку: поговорить с мальчиком, мягко укорить его за такое поведение. Скажу по-дружески, он мне очень нравился – такой был серьезный и самостоятельный.

– На каком вы месяце? – спросила Нила Парвану.

Сестра склонила голову и ответила, что ожидает ребенка зимой.

– Такая благодать вам, – сказала Нила, – вы ждете ребенка. И такой у вас вежливый пасынок. – Она улыбнулась Абдулле, но у того лицо ничего не выразило.

Парвана пробормотала нечто, смахивавшее на «спасибо».

– А есть ведь еще и малышка, если я правильно помню? – спросила Нила. – Пари?

– Она спит, – буркнул Абдулла.

- А. Я слыхала, она прелесть.
- Иди за сестрой, – сказал Сабур.

Абдулла помялся, переводя взгляд с отца на Нилу, после чего встал и с очевидной неохотой пошел за Пари.

Если б было у меня хоть какое-то желание – даже в этот поздний час – как-то оправдать себя, я бы сказал, что связь между Абдуллой и его младшей сестренкой была обыкновенной. Но это не так. Никому, кроме Господа, неведомо, отчего эти двое выбрали друг друга. Загадка. Такого притяжения между людьми я не видал никогда. По правде сказать, Абдулла для Пари был в той же мере отцом, в какой и братом. Во младенчестве, когда она плакала по ночам, он соскакивал с койки и укачивал ее. Он сам взял на себя обязанность менять ей испачканные простынки, пеленать ее, убаюкивать. Его терпение с нею не имело границ. Он носил ее с собой по деревне и показывал всем, будто она – самая желанная в мире награда.

Когда он принес еще сонную Пари в комнату, Нила попросила разрешения взять ее на руки. Абдулла вручил сестру, соорудив подозрительную мину, будто сработал в нем какой-то инстинктивный сигнал тревоги.

– Ах, какая лапочка, – воскликнула Нила, а ее неловкие покачивания выдали в ней неопытность обращения с малышами.

Пари изумленно поглядела на Нилу, перевела взгляд на Абдуллу и заплакала. Он быстро забрал сестру у Нилы.

- Какие глаза! – сказала Нила. – А какие щечки! Ну не милашка ли, Наби?
- Это точно, биби-сахиб, – сказал я.
- И имя у нее идеальное – Пари. Она и впрямь красавица – как фея.

Абдулла смотрел на Нилу, качал Пари на руках, лицо у него затуманилось.

На пути в Кабул Нила развалилась на заднем сиденье, упершись головой в стекло. Долго она молчала. И вдруг зарыдала.

Я съехал на обочину.

Не скоро она заговорила. Плечи у нее тряслись, она всхлипывала в ладони. Наконец высморкалась в платок.

- Спасибо, Наби, – сказала она.
- За что, биби-сахиб?
- За то, что свозил меня. Это большая честь – познакомиться с твоей семьей.
- Это им честь. И мне. Вы нас почтили.
- Чудесные у твоей сестры дети.

Она сняла очки и промокнула глаза.

Я мгновенье раздумывал, что делать дальше, поначалу решив помолчать. Но она же плакала при мне, и эта доверительность требовала теплых слов. Я тихонько сказал:

- У вас будет сын, биби-сахиб. *Иниалла*, Господь о том позаботится. Подождите.
- Вряд ли Он позаботится. Даже Он не может.
- Конечно, сможет, биби-сахиб. Вы так юны. Если будет на то Его желание, все случится.
- Ты не понимаешь, – сказала она устало. Никогда я не видел ее такой утомленной, опустошенной. – Все исчезло. Они все из меня выцарапали в Индии. Я порожняя внутри.

Нечего мне было на это ответить. Я мечтал перелезть к ней на заднее сиденье, обнять, успокоить поцелуями. Сам не зная, что делаю, я потянулся к ней и взял за руку. Подумал, она выдернет ладонь, но ее пальцы благодарно сжали мои, и так мы сидели в авто, глядя не друг на друга, а лишь на равнины вокруг, желтые, чахлые, по всему окоему, насупившиеся дренажными канавами, проткнутые кустами да камнями, с возней какой-то жизни там и сям. Я держал Нилу за руку и смотрел на горы и столбы электропередач. Проследил глазами за грузовиком, тащившимся вдали, за хвостом его выхлопа – я счастлив был бы сидеть так до самой темноты.

– Отвези меня домой, – наконец сказала она, выпуская мою руку. – Хочу лечь сегодня пораньше.

– Да, биби-сахиб.

Я откашлялся и слегка неверной рукой включил первую передачу.

Она отправилась к себе в спальню и не выходила оттуда несколько дней. Такое случалось и раньше. Временами она подтаскивала кресло к окну своей спальни наверху, усаживалась, курила, болтала ногой и равнодушно глазела наружу. Не разговаривала. Не вылезала из ночной рубашки. Не мылась, не чистила зубы, не причесывалась. На сей раз она даже не ела, и вот это вызвало у господина Вахдати не свойственную ему тревогу.

На четвертый день раздался стук в ворота. Я открыл высокому пожилому человеку в безупречно отутюженном костюме и сияющих штиблетах. Было нечто внушительное и довольно отталкивающее в его манере угрожающе нависать и в его взгляде, что пронизал насквозь, а также в том, как он держал полированную трость двумя руками, будто скипетр. Он не успел произнести ни слова, а я уже почувствовал, что передо мной человек, привыкший повелевать.

– Насколько я понимаю, дочь моя приболела, – сказал он.

Вот, значит, ее отец. Мы прежде никогда не встречались.

– Да, сахиб. Боюсь, что так, – ответил я.

– Тогда прочь с дороги, молодой человек.

Он протиснулся мимо меня.

Я нашел себе занятие в саду – взялся колоть дрова для плиты. С того места, где я работал, отлично просматривалось окно Нилиной спальни. За стеклом показался ее отец, согнутый в талии, склонившийся к Ниле, одной рукой он сжал Ниле плечо. На лице у нее возникло такое выражение, какое бывает у людей, если их вдруг пугает внезапный громкий звук – вроде петарды или двери, хлопнувшей от порыва ветра.

В тот вечер она поела.

А несколько дней спустя Нила призвала меня в дом и сообщила, что собирается закатить гулянку. Когда господин Вахдати был холост, мы почти никогда не устраивали сборищ у себя. Нила же, переехав, устраивала их два-три раза в месяц. За день до праздника Нила выдавала мне подробные инструкции, какие закуски и блюда мне предстоит готовить, и я отправлялся на рынок за всем необходимым. Главным среди этого необходимого был алкоголь, и я его никогда раньше не приобретал, поскольку господин Вахдати не пил – отнюдь не по религиозным соображениям, а просто потому, что ему не нравились последствия. Нила же, напротив, хорошо знала некие заведения – «аптеки», как она их шутливо именovala, – где за двойной эквивалент моей месячной зарплаты можно было купить из-под полы бутылку «лекарства». У меня по поводу этого поручения были смешанные чувства: получалось, что я – пособник греховодства, но, как всегда, возможность порадовать Нилу перевешивала все остальное.

Важно понимать, господин Маркос, что гулянья у нас в Шадбаге – хоть свадьбу мы праздновали, хоть обрезание – происходили в двух отдельных домах, один для женщин, другой для мужчин. На праздниках у Нилы мужчины и женщины общались вперемешку. Большинство женщин одевались, как Нила, – в платья, обнажавшие руки целиком и значительную часть ног. Эти женщины курили и пили, и в бокалах у них плескались напитки бесцветные, или красные, или медного оттенка; женщины рассказывали анекдоты, смеялись и касались рук мужчин, женатых, насколько я знал, на других женщинах, тоже присутствовавших в комнате. Я носил маленькие блюда с *болани* и *люля-кебабами* с одного конца прокуренной комнаты до другого, от одной группки гостей до другой, а проигрыватель крутил пластинки. Не афганскую музыку, а нечто, называемое Нилой «джазом», – такая музыка, узнал я много лет спустя, нравится и вам, господин Маркос. На мой слух эти случайные треньканья пианино и странный вой труб казались мешаниной, лишенной гармонии. Но Ниле нравилось, и я не раз слышал, как она

говорит гостям, что им просто необходимо послушать ту или иную запись. Весь вечер она не расставалась с бокалом и уделяла ему куда больше внимания, чем еде, которую я подносил.

Господин Вахдати для развлечения гостей прикладывал довольно скромные усилия. Делал вид, что светски общается, но чаще сидел в углу с отстраненным выражением лица, крутил в стакане минералку, а если кто-нибудь к нему обращался, улыбался вежливо, но зубов не обнажал. Имел привычку удаляться, когда гости начинали просить Нилу почитать ее стихи.

Я особенно любил эту часть вечера. Стоило ей начать, я всегда находил, чем себя занять, лишь бы оставаться поблизости. Я замирал с полотенцем в руке и напрягал слух. Стихи Нилы не походили ни на что из того, на чем я вырос. Как вам хорошо известно, мы, афганцы, обожаем свою поэзию; даже самые необразованные из нас могут прочесть наизусть из Хафиза, Хайяма или Саади. Помните, господин Маркос, вы говорили мне в прошлом году, как сильно любите афганцев? И когда я спросил, за что, вы рассмеялись и ответили: *Потому что даже ваши уличные граффитисты разбрызгивают по стенам Руми.*

Но стихи Нилы пренебрегали традицией. Они не следовали никакому заданному размеру или рисунку рифмы. Не живописали они и привычных вещей – деревья, весенние цветы или бюльбюлей. Нила писала о любви, и под любовью я не имею в виду суфийские алканья Руми или Хафиза, а вполне физическую любовь. Она писала, как шепчутся любовники на одной подушке, прикасаясь друг к другу. Она писала об удовольствии. Я никогда не слышал, чтобы женщины так выражались. Я стоял и слушал, как хрипловатый голос Нилы wpłyвает в прихожую, закрывал глаза, а уши у меня горели: я представлял, что она читает их мне и это *мы* – любовники из ее стихов, – покуда кто-нибудь не просил чаю или яичницы, и лишь тогда развеивались чары, Нила звала меня, и я бежал на ее зов.

Той ночью стих, который она выбрала прочесть, поймал меня врасплох. Он был о человеке и его жене, деревенских, о том, как оплакивают они младенца, коего отняла зимняя стужа. Гостям, похоже, стихотворение понравилось – судя по их кивкам и одобрительному бормотанию, а также по сердечным аплодисментам после того, как Нила оторвала взгляд от страницы текста. И все же я почувствовал удивление и разочарование: горе моей сестры использовали для развлечения гостей, и я никак не мог стряхнуть некое смутное чувство совершенного предательства.

Через пару дней после гулянки Нила сказала, что ей нужна новая сумочка. Господин Вахдати читал газету за столом, где я сервировал для него обед из чечевичного супа и *наана*.

– Тебе что-нибудь нужно, Сулейман? – спросила Нила.

– Нет, *азиза*. Спасибо, – ответил он.

Редко слышал я, чтобы он обращался к ней как-то иначе, нежели *азиза*, что означает «любимая», «дорогая», и все же никогда эти двое не были так далеки друг от друга, как в тех случаях, когда он произносил это слово, и ни у кого это ласковое обращение не получалось таким холодным, как у господина Вахдати.

По дороге в магазин Нила сказала, что хочет взять с собой подругу, и объяснила, как к ней ехать. Я остановил авто на улице и смотрел, как она прошла квартал до двухэтажного дома с ярко-розовыми стенами. Поначалу я не стал выключать мотор, но прошло пять минут, Нила не вернулась, и я его заглушил. Правильно сделал – миновало не менее двух часов, прежде чем я вновь увидел ее стройную фигуру на тротуаре, что вел к машине. Я открыл заднюю дверь, она скользнула внутрь, и я услышал под ее знакомыми духами другой аромат – что-то, напоминающее кедр и, быть может, ноту имбиря, – и вспомнил, что уже вдыхал его на вечере у Нилы два дня назад.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.